

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ

ПРЕЕМНИК

Перевод с албанского В.В.Тюхина, 2014

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕКАБРЬ САМОУБИЙСТВА

1

Преемника обнаружили мертвым в его спальне на рассвете 14 декабря. В полдень по албанскому телевидению передали короткое сообщение: в ночь с 13-го на 14-е декабря Преемник покончил с собой, застрелившись в результате нервного срыва.

Мировые информационные агентства немедленно распространили эту новость, дословно повторив официальную формулировку албанских властей. Только уже ближе к вечеру, после того, как по югославскому радио было высказано подозрение, что самоубийство вполне может оказаться убийством, агентства несколько изменили текст, упомянув обе возможности.

Бескрайнее декабрьское небо, по которому разлетались новости, было совершенно прозрачным, и только в самой его середине недвижно висели сердитые тучи.

И хотя смерть эта потрясла всю страну, тот факт, что не был объявлен день траура, и даже не произошло никаких изменений в программе телевизионных передач, не вызвал такого удивления, как можно было бы ожидать. Хотя это и была страна, отрекшаяся от христианского креста, самоубийство, как и по канонам христианской веры, безоговорочно осуждалось. Кроме того, - и это, наверное, было самым главным, - в течение

всей этой осени, и особенно в начале зимы, все ожидали падения Преемника.

2

На следующее утро, отвыкшие уже за многие годы от звучащего некогда в таких случаях колокольного звона, албанцы искали какие-нибудь приметы траура где только можно: на правительственных зданиях, в звуках радио, на лицах соседей по очереди за молоком. Отсутствие приспущенных флагов и траурных маршей оставляло, впрочем, еще какую-то последнюю надежду тем, кто хотел верить, что произошедшая задержка это всего лишь случайность.

Зарубежные информагентства передавали новость в двух версиях: самоубийство или убийство.

Казалось, что для своего расставания с этим миром Преемник избрал свой особый путь: не одна смерть, а целых две. Он хотел, таким образом, покинуть этот мир, влекомый сразу двумя черными буйволами, словно один с этим бы не справился.

Нервно разворачивая утренние газеты в надежде узнать что-то новое об этом событии, люди на самом деле хотели выяснить, какая из двух смертей, добровольно избранная им самим, или та, другая, от чужой руки, оказалась бы предпочтительнее для них самих.

При отсутствии новостей печатных, приходилось довольствоваться теми, что вечерами передавались повсюду из уст в уста. Ночь смерти Преемника и в самом деле была ужасной, и это не плод чьей-то фантазии, а факт, свидетелями которому были абсолютно все.

Молнии, проливной дождь, яростный ослепляющий ветер. Известно, что после всей этой тревожной осени Преемник был душевно изможден. Утром должно было состояться заключительное заседание Политбюро, на котором ему, после выступления с самокритикой, скорее всего простили бы совершенные им ошибки.

Но, как часто бывало с людьми, родившимися под несчастливой звездой, которые за мгновение перед тем, как спастись, срывались в пропасть, он поспешил. Он оставил письмо, в котором просил прощения за то, что уходит таким образом, и закончил со всем разом.

Вся семья была дома. После ужина он попросил жену разбудить его в восемь утра, и ушел в свою комнату. Жена, которая все эти недели мучилась от бессонницы и почти не спала толком, той ночью, как сама утверждала, уснула мертвым сном. Дочка, заметившая, что свет в его комнате горел до двух часов ночи, а потом погас, тоже легла спать. Выстрела никто не слышал.

Вот практически и все сведения, просочившиеся, или, по крайней мере, считавшиеся просочившимися из дома покойного. Из закрытого правительственного квартала, того, что все называли просто «Блок», приходили другие известия. Несмотря на то, что ночь была дождливая и ветреная, было замечено необычайно оживленное движение машин. Самое удивительное было то, что примерно около полуночи, может быть, чуть позже, видели, как некая тень заходила в дом покойного. Высокопоставленный чиновник, очень высокопоставленный... но об этом нельзя распространяться ни при каких обстоятельствах... никогда, ни в коем случае... ну, в общем, официальное лицо... чрезвычайно высокопоставленное лицо вошло... чтобы через некоторое время выйти...

Папки с албанскими досье заросли пылью. Уже не в первый раз на это вдруг обратили внимание в главных центрах мировой разведки. Внимание это, разумеется, сопровождалось укоризненными замечаниями вышестоящих начальников и чувством вины их подчиненных, которые тут же принимались обновлять досье с искренней уверенностью в том, что теперь-то уж они будут выполнять свои обязанности с подобающим старанием.

Сведения об Албании были в целом устаревшими, порой с налетом романтики. Маленькое государство, название которого переводится как «страна орлов». Древний балканский народ, происхождением своим обязанный иллирийцам, как и язык, на котором он говорит. Новое государство возникло на развалинах Османской империи в начале века. В стране исповедовались три религии, католическая, православная и мусульманство, когда она была провозглашена королевством, с германским монархом во главе, принадлежавшим к четвертой религии, на этот раз протестантской. Позднее стала республикой, с албанским епископом во главе. Последнего, в свою очередь, сверг после гражданской войны будущий король, на этот раз албанец. Его, в свою очередь, низложил другой монарх, теперь уже итальянский, и короновался, чтобы провозгласить себя после этого «королем Италии и Албании, императором Эфиопии». После этого гротескного объединения, когда албанцы, впервые в своей истории, оказались вдруг в одном государстве с неграми, была установлена коммунистическая диктатура. Новые друзья, неожиданные союзы, заключавшиеся с энтузиазмом и разрывавшиеся с ожесточением.

Начиная как раз с этого момента, а именно со времени двух больших конфликтов, когда албанцы сначала разорвали отно-

шения с русскими, а позднее с китайцами, в большинстве досье можно было заметить следы обновления. После разрыва с русскими в дело подшивались новые листы: свежие данные, экспертные оценки и аналитические прогнозы, часть которых венчал знак вопроса. Большинство занимались рассуждениями на тему: куда теперь пойдет Албания — на Запад или обратно на Восток? Ответы были неопределенными, поскольку зависели от решения других вопросов, с которыми ясности пока не было. Было ли в интересах Запада переманить на свою сторону Албанию? В некоторых аналитических записках мимоходом упоминалась возможность заключения секретного соглашения между коммунистическим лагерем и западным миром: мы оставим в покое Албанию, при условии, что и вы туда соваться не будете! В одном из досье упоминался даже некий доклад, в котором вопрос был сформулирован предельно откровенно: имело ли смысл Западу конфликтовать с коммунистическим блоком ради того, чтобы заполучить крохотную Албанию, вместо того, чтобы дожидаться удобного случая и урвать кусочек пожирнее, к примеру, Чехословакию?

Падение интереса с течением времени стало замечаться во всем, даже в стиле аналитических записок, где вновь стали преобладать заезженные романтические выражения, по большей части имевшие отношение к царственной птице, орлу. Иногда, заметно реже — к собранию древних албанских обычаев, именуемому Канон или Канун.

Все, похоже, вновь повторилось годы спустя, во время разрыва отношений с Китаем. Ставились те же вопросы и на них давались более или менее аналогичные ответы, за исключением того, что все выглядело как-то более блекло, а Чехословакию в этот раз заменили на Польшу.

В холодном декабре, когда ушел из жизни Преемник, с папок албанского досье в третий раз смахнули пыль. При этом претензии вышестоящих начальников становились все более

жесткими. Хватит уже всех этих фольклорных сказок об орлах и прочих ястребах! Нужны, наконец, серьезные аналитические исследования об этой стране. Ожидаются волнения на Балканах. Восстание в северо-восточной Албании, которую некоторые называют еще внешней Албанией, а другие Косовом, только что было подавлено. Было ли каким-то образом это восстание связано с последними событиями в Албании или нет?

В одном из досье кто-то нервной рукой обвел красным цветом слова: «Албанцев — два миллиона или шесть?». После вопросительного знака стоял восклицательный. А после него было написано: «Странно!».

По мнению неизвестного, было странно, что в таком вопросе может существовать подобная неопределенность и неточность. Чуть ниже такой же вопросительный знак стоял возле слов «Христиане или мусульмане?». Сбоку на полях была приписка: «Если албанцев на самом деле не два миллиона и не все они мусульмане, как настаивают югославы, а в три или четыре раза больше, то есть примерно столько же, как и у других балканских народов, и эти семь миллионов вовсе не исключительно мусульмане, а и католики, и православные и мусульмане, тогда все меняется в геополитике полуострова».

В одном из разведцентров за океаном вдруг осознали, что, во-первых, их шпионская сеть не только безнадежно устарела, но и что часть шпионов, ослепнув от старости, перешла на сторону албанской госбезопасности - «Сигурими». Именно этим, похоже, и объяснялось то, что на следующий день после смерти Преемника донесения оттуда были настолько невразумительными.

Тем временем, под обжигающим декабрьским ветром, на западном столичном кладбище Преемника опускали в землю. В похоронах принимали участие члены семьи, а также две дюжины официальных лиц высокого уровня из правительства и Народного собрания. Там были министры и руководители госу-

дарственных учреждений, среди которых белела седая голова председателя Академии наук. Военные и чиновники рангом пониже несли венки. Прощальную речь прочитал сын покойного. После завершающих слов: «Покойся с миром, отец!», голос у него дрогнул. Не было ни воинского салюта, ни музыки. Ясно было, что самоубийство по-прежнему не одобряется.

Декабрьская ночь, словно спеша куда-то, поглощала один за другим окружающие Тирану холмы. У свежей могилы Преемника стояли два вооруженных солдата, единственные живые души на всем огромном городском кладбище, один у изголовья, второй у ног свеженасыпанного холмика земли. Шагах в сорока от них, спрятавшись в кустах у ограды, другие люди, в штатском, несли свою невидимую службу во мраке.

Облегчение, испытываемое людьми, когда труп наконец погребен в земле, в полной мере относилось и к Преемнику. Более того, по совершенно понятным причинам, облегчение это было гораздо более сильным, чем если бы речь шла о ком-нибудь другом.

После тревожных дней наступила глухая тишина, какую редко можно было припомнить в это время года.

Под остекленевшим декабрьским небом все, что так растревожило души, стало восприниматься как-то проще, и выглядело не таким ужасным. И даже главный вопрос, было ли случившееся самоубийством или убийством, теперь, когда Преемник унес тайну с собой в могилу, уже казался не таким важным.

Столичные жители излечились от преждевременного трупного окоченения, которым их совершенно явно заразило тело Преемника, и теперь, когда тело это скрылось во мраке, казалось, всех отпустило, и было гораздо легче вспоминать события той бесконечной осени. Теперь все предстало в совершенно новом свете, и даже последовательность событий сплелась в другом ритме, по сравнению с тем, что было известно ранее.

Началось все с приходом сентября. Возвращаясь из отпусков, все обнаружили, что столица переполнена слухами, того сорта, что некогда именовались «светскими». Преемник сосватал свою единственную дочь. Кроме того, он только что переехал в новый дом, за строительством которого в Тиране следили с немалым любопытством. На самом деле, то, что именовалось «новым домом», было ничем иным, как виллой, в которой он жил уже много лет, но перестроенной с таким мастерством в течение лета, что ее с трудом можно было узнать.

Древняя поговорка о том, что новый дом приносит несчастье, оказалась вполне актуальной, несмотря на непрерывные кампании по борьбе с предрассудками, что стало совершенно очевидным как раз этой осенью. До конца так и осталось неизвестно, доводилось ли Преемнику слышать эту поговорку, но его упорное желание отпраздновать помолвку своей дочери именно в день въезда в новое жилище вызвало самые оживленные пересуды. Казалось, что это упорство было вызвано тем, что Преемник хотел насильно заставить дом принять радостное событие, короче говоря, раньше времени бросить вызов судьбе, разбудить лихо, вызвав его на поединок.

Там были все: члены семьи, руководящие работники, родственники жениха, сам жених, игравший на гитаре, архитектор, построивший новый дом, который, напившись, принялся плакать. Водоворотом кружились все под звон бокалов и бесконечные вспышки фотоаппаратов, смеялись, всхлипывали, утирая слезы. В самый разгар праздника, в тот момент, когда Вождь страны, чей приход и поздравления привели к новому взрыву ликования, уходил пешком в сторону собственного дома, вдруг непонятно откуда потянуло ледяным ветром.

Получил ли он какое-то неожиданное известие во время той короткой прогулки из дома Преемника до своего собственного дома? Передали ему некое сообщение по пути, или же он получил его у входа в свой дом, куда добрел, сгорбившись под тяжестью черного пальто, об этом никто никогда не узнал. Совершенно очевидно было, однако, что именно в тот вечер впервые раздались роковые слова: устроенное Преемником обручение было политически ошибочным. Хотя отец жениха, известный сейсмолог Бесим Дакли, благодаря великодушию Партии время от времени и преподавал в Университете, семья Дакли считалась принадлежавшей к свергнутому эксплуататорскому классу. На это можно было бы закрыть глаза, если бы речь шла о рядовом партийце, а не о Преемнике.

Самый опасный вопрос, который вслух никто задавать не осмеливался, но читавшийся в многозначительных взглядах, которыми обменивались посвященные, был связан с тем, что о намерении семьи Дакли устроить помолвку с Преемником стало известно как минимум за пару недель до визита Вождя. Следовательно, появление последнего с поздравлениями являлось одновременно и одобрением запланированной свадьбы. Именно поэтому, возможно, ликование в тот незабываемый день и перешло все мыслимые границы. Однако сразу же после ухода Вождя случилось что-то странное. Вскрылось ли неожиданно нечто ранее неизвестное, что было связано с семьей Дакли? Всплывшая где-то, возможно, очень далеко, некая информация о чем-то совершенно экстраординарном, что не попало в поле зрения секретной службы в течение тех двух недель, когда лихорадочно изучались вдоль и поперек личные дела членов семейства Дакли?

Как часто происходит с людьми, которые, старательно избегая касаться действительно опасных вопросов, тем усерднее говорят о том, что представляется более допустимым, они вновь и вновь обсуждали — позволено ли Преемнику то, что запрещено другим. Большинство с этим не соглашались, более того, припоминали многочисленные случаи, когда судьбы семейств и даже целых родов ломались из-за неподходящего сватовства. Но были и такие, кто считал по-другому: так много сделал Преемник для страны, с такой трогательной верностью шаг за шагом следовал за Вождем даже в самые суровые времена, что можно было бы и позволить ему небольшое послабление. Кроме того, раз уж выпал такой случай, в дальнейшем можно было бы что-то и поменять. Кто сгорел, тот сгорел, а остальные могли бы пользоваться плодами этих перемен. Вот именно в этом-то весь корень зла, настаивали первые. Вся беда как раз в примере, который будет подан остальным.

Все эти разговорчики как ножом обрезало в тот день, когда стало известно о разрыве помолвки. Наконец-то все осознали, что это была не просто ошибка. Не помолвка это была, а смертельная отравка. Хуже отравы. Гибельной угрозой была она для Албании. Ослаблением классово́й борьбы. Ударом в самую глубинную ее суть, которой страна гордилась сорок лет. Вся ее стойкость, залог ее побед, ее слава — все базировалось на этом принципе: только усиление беспощадной борьбы, никакого ослабления! Все остальные, ее враги, один за другим скачивались до предательства, и путь к предательству начинался именно с этого, с ослабления борьбы. И только здесь, у нас... Хвала небесам, что это, должно быть, всего лишь случайная оплошность Преемника. Да и понятно, что иначе просто быть не может. Тот факт, что он тут же разорвал эту помолвку, свидетельствовал о его глубоком раскаянии. Это ведь не так легко — отказаться от данного слова, если речь идет о свадьбе. Пришлось ему, как говорится в Албании, с хлебом съесть свой позор перед целым народом. Вот уже тысячу лет как свадьбы не отменялись в этой стране. Люди могли убивать и резать друг друга, но даже отложить день свадьбы никто и подумать не смел, не говоря уже о том, чтобы и вовсе отменить. А вот он, он отменил. Этим он доказал, что верность Партии и Вождю ставит, как и всегда, превыше всего. Несгибаемый человек, верное слово! Не зря он Преемник.

Как и всякая дурная новость, известие о расторжении помолвки разнеслось молниеносно, гораздо быстрее, чем новость о помолвке. Будучи уверенными, что кризис заканчивался, большинство полагали, что случившееся, вместо того, чтобы ослабить, напротив, только укрепило общественную мораль. Страна и руководивший ею Вождь наглядно продемонстрировали свою негибкость перед лицом любых потрясений. Так же, как и во время ссоры с югославами. Так же, как позднее с русскими и, само собой разумеется, с китайцами.

Ослабление напряженности позволило обратить внимание на мелкие сентиментальные детали происшествия. О них потихоньку перешептывались повсюду. Запрет на телефонные разговоры жениха и невесты. Жених и его отец, Бесим Бакли, у ворот дома Преемника, кутающиеся в длинные пальто в ожидании объяснений по поводу случившегося. Отчаяние девушки, которая, запершись в своей комнате, объявила голодовку. Несчастный юноша, который, чтобы унять боль, тем временем принялся снова терзать свою гитару, на этот раз сочинив песню, начинавшуюся словами: «И вот с тобою мы разлучены!»

К несчастью для Преемника, большинство государственных праздников Албании приходились на осень, так что ему никак не удавалось избежать телекамер. Тысячи глаз внимательно всматривались в его лицо на экране, чтобы уловить на нем следы происходящего. Некоторые находили его более мрачным, чем следовало бы, а другие, напротив, чересчур спокойным. И то и другое было, без сомнения, скверно, но последнее казалось более опасным, поскольку свидетельствовало о том, что он пытался показать, насколько ему наплевать на то, что о нем будут говорить.

То, что поначалу казалось просто занятым, приобрело драматический оттенок на праздновании очередной годовщины национального праздника, на котором присутствовали оба — и Вождь, и Преемник. В отличие от прошлых лет, когда во время торжественных мероприятий они улыбались или время от времени перебрасывались между собой какими-то фразами, в этот раз лицо Вождя хранило ледяное выражение. Он не только не обратился к нему ни разу, но, словно желая подчеркнуть свое пренебрежение, пару раз обратился к человеку, сидевшему с другой стороны от него: к министру внутренних дел.

Люди по всей стране, не отрывая глаз от экранов, следили за происходящим. Признанная ошибочной помолвка давно уже была расторгнута, но, несмотря на это, не наблюдалось никаких признаков смягчения отношения к Преемнику, и уж тем более проявления сочувствия к тому унижению, которое ему пришлось испытать. Напротив, все признаки свидетельствовали о том, что недовольство Вождя росло.

Это был первый случай, когда почти открыто выносилось на публику то, что раньше называли бы враждебными слухами, нацеленными на подрыв единства. Ветераны были обеспокоены. Встав до рассвета, с покрасневшими от бессонницы глазами, они жаловались на ломоту в костях, а затем с горечью говорили своим седым женам то, что нельзя было сказать вслух в кафе: ну можно ли вот так вот взять и растоптать сорокалетнюю дружбу?

Более оптимистично настроенные с нетерпением ждали следующего праздника, в надежде, что все потихоньку уладится. И когда на следующем праздновании не только ничего не уладилось, но отношения стали еще более ледяными, они вздохнули, у них от страданий перехватывало в груди дыхание, и едва хватало сил воскликнуть: «Горе нам, несчастным!».

В конце ноября разнесся робкий слух: вся эта история закончится вместе с праздниками. Как ни странно, ему поверили

больше, чем всем остальным, может быть, из-за того, что речь шла о календаре и о смене времен года, то есть о вещах, о которых давным-давно все и думать забыли, поскольку никакой роли в человеческой жизни они не играли.

Из-за грохота торжеств, заканчивавшихся вместе с ноябрем, начало декабря всегда казалось оглушительно тихим. Вместо транспарантов, кумача трибун, торжественных речей и гремевшей из громкоговорителей музыки возвращались шум ветра, туманы и грозы, как и тысячу лет назад в это время года. И хотя начало любого декабря можно было назвать тихим, в том году оно показалось вдвое, втрое безмолвнее, чем обычно. И в этой глухой тишине прозвучал выстрел, оборвавший жизнь Преемника. Он тоже был приглушенным, неразличимым ни снаружи, ни в стенах дома, словно произведен он был с того света.

6

Работа с албанскими досье была настолько нервной, что большинство из тех, кто ими занимался, хотя и не говорили этого вслух, горячо желали, чтобы временные потрясения закончились как можно скорее, и архивные папки были отправлены туда, где они и покоились раньше, покрытые толстым, в два пальца, слоем пыли.

Но сейчас, похоже, надеяться на это не приходилось. Чем дальше, тем они распухали все больше и больше. Все осознавали, что собранные в них материалы были настолько противоречивыми и хаотичными, что даже те, кого трудно было вывести из себя, в какой-то момент не могли уже сдержаться, разводили руками и, тяжело вздохнув, повторяли фразу, услышанную накануне от своих коллег: чтобы понять хоть что-то о стра-

не, погрязшей в паранойе, нужно самому быть немного параноиком.

Начальство, похоже, думало по-другому. Они ставили на полях нервные вопросительные знаки всякий раз, когда наталкивались на это слово, более того, всякий раз, когда в тексте встречались выражения: «очередное балканское помешательство», или «причуда сумасшедшего», или «типичный психоз, обусловленный нехваткой йода в организме» и т. д. и т. п. Зависть любого правителя к собственному преемнику, и особенно зависть, приводившая к убийству последнего, была всегда настолько повсеместно распространенным явлением, что никоим образом не могла послужить ключом для объяснения балканской неразберихи. Перечисление занимательных фактов из жизни албанских горцев, таких как, к примеру, конкурсы красоты среди мужчин, после которых, бывало, победителя убивали завистники, могло бы пригодиться при написании литературного эссе, но никак не для политического анализа. Иначе нам пришлось бы признать, что вся сложнейшая запутанная история полуострова в XX веке сводится всего-навсего к переложению известной сказки: «свет мой зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее?»

Изможденные аналитики вновь возвращались к главным вопросам, на которые они так и не дали ответов, отвлеченные исследованием того, является ли конкурс красоты среди мужчин на албанском высокогорье всего лишь очередной не заслуживающей внимания ерундой или может рассматриваться как признак смягчения отношения ужасного албанского Кануна по отношению к гомосексуалистам.

После неоднократных замечаний по поводу того, что пора подойти к делу более серьезно, аналитики возвращались к гипотезе, сопровождавшейся огромным знаком вопроса: изменение политической линии Албании? Естественно, первое, что приходило в голову после устранения Преемника, была мысль

об изменении линии. Самое скверное было то, что из огромного объема поступавших донесений никто не мог извлечь никаких подтверждений того, что Вождь действительно дал какой-то повод подозревать об изменении, пусть даже и самом незначительном, албанской политической линии.

Действительно, помолвка с «буржуазной» семьей вполне могла рассматриваться в Албании как сигнал о смягчении классово-борьбы, но последний, кого можно было бы в этом заподозрить, был именно Преемник. В течение всей своей долгой карьеры он всегда был живым воплощением ужесточения борьбы и никогда — смягчения. Уже давно он взял на себя эту роль, и порой даже возникали подозрения, что Вождь, когда хотел проверить реакцию на какие-нибудь новые меры принуждения, первым глашатаем таких нововведений всегда делал Преемника. А затем, если меры признавались чересчур жесткими, вина за это опять-таки возлагалась на Преемника, в то время как Вождю доставалась роль политика более мягкого, исправляющего допущенные перегибы.

В этот раз все произошло наоборот. Аналитиков просто распирало от желания поставить диагноз одной фразой: «типичное албанское сумасбродство», но им пришлось, переборов себя, с большим сожалением от этого отказаться, чтобы обратиться ко второй концепции, той, которая считала источником всего случившегося происходившие неподалеку события: волнения в Косово.

Весь год звучали мрачные пророчества. Косово должно было стать центром землетрясения, приближавшейся бури, грядущего ужаса Балкан. Вполне логично, что восстание требовало большого количества жертв повсюду, особенно в Албании. Но каким образом можно было связать с этим принесение в жертву Преемника? Слухи были туманными. Югославы, после того, как первыми высказали подозрение, что это было убийство, а не самоубийство, теперь упорно молчали, словно пожа-

лев о том, что проговорились. Им на самом деле не было ничего известно, или они делали вид, что ничего не знают?

Измученный до предела, поскольку ни одно из двух объяснений, связанных с геополитикой, не звучало убедительно, один из аналитиков вернулся к уже отброшенной версии, которую между собой они называли теперь «свет мой, зеркальце!». Чтобы придать ей большей убедительности, он попытался дать ей новое обоснование, увязав ее с тем, что вошло в моду в последнее время и использовалось для объяснения большинства конфликтов: нефтью. Несмотря на то, что доклад его сопровождался данными о ее производстве в Албании аж с 30-х годов, с приложением геологических карт с обозначением нефтеносных районов, а также кратким изложением смертельной схватки компаний «Бритиш Петролеум» и итальянской «Агип» в 1938 году, доклад этот был квалифицирован как «смехотворный». Возможно, последнее определение и не было бы использовано, если бы аналитик не прибавил в конце, что, возможно, отнюдь не случайно злосчастный сват Преемника был сейсмологом, а эта профессия тем или иным образом может иметь отношение к нефтеразведке!

После неудачной попытки обнаружить причины разрыва помолвки и последовавшего самоубийства где-то на глубине двух тысяч метров, аналитик, понятное дело, подал в отставку. Поскольку в последнее время у него вошло в обычай добавлять что-нибудь в конце каждой докладной записки, прошение об отставке он сопроводил пространным комментарием о плохом состоянии своего здоровья этой зимой, причем в качестве подтверждения приложил еще и два медицинских рецепта, в одном из которых фигурировало «половое бессилие».

Соратники его отнюдь не собирались следовать его примеру, тем не менее это не мешало им мечтать о том дне, когда их, наконец, избавят от всей этой албанской неразберихи. Они предпочли бы ей работу с любыми другими досье, даже теми,

в которых речь шла о проблемах, считавшихся неразрешимыми, таких как палестино-израильский конфликт или отношения между некоторыми африканскими странами, где границы сдвигались не из-за политики, а, как и много веков назад, по прихоти ветра пустыни.

После долгого вздоха, сопровождаемого, как правило, словами: «ну что за страна!», они вновь склонялись над толстыми папками с противоречивой информацией, пытаясь все хоть как-то упростить и изложить логично и последовательно.

Убийство или самоубийство? И если это было убийство, то кто его совершил? И самое главное: по какой причине? Большинство донесений продолжали настаивать на том, что некую очень высокопоставленную фигуру, некую тень, заметили, когда она входила в дом Преемника той роковой ночью. Более того, некоторые даже называли имя того, кто, вероятно, был этой самой тенью: Адриан Хасобеу, министр внутренних дел. Как раз тот самый, кто на днях оставил эту должность, чтобы занять еще более высокую. По всем прогнозам аналитиков именно он был первым претендентом на то, чтобы занять место Преемника.

Помимо явления тени, множество других деталей только добавляли тумана во всю эту историю. Просьба Преемника разбудить его в восемь часов утра. Беспробудный свинцовый сон его жены, и острый запах пороха, ударивший ей в нос, как раз в восемь часов утра, когда она открыла дверь. Машины, ездившие по Блоку всю ночь. Дождь и ветер, непрерывно менявший направление. Двое, которых якобы видели снаружи (вероятно, кто-нибудь из охранников), то ли поднимавшихся, то ли спускавшихся по лестнице в доме, вместе с Преемником. Видели их всего одно мгновение, сквозь окно первого этажа, при свете вспышки молнии, и они держали под руки Преемника, неподвижного, похожего на восковую куклу!

Живого они его поднимали или спускали по лестнице? Потерявшего сознание, раненого, мертвого? Тащили его в подвал или в морг? Возможно, чтобы загримировать как нужно. Изменить место ранения, замаскировать рану, к примеру, чтобы заменить ее другой?

А в подвале был подземный переход, о котором никому не было известно...

Все словно крутилось в каком-то липком темном месиве, то медленнее, то быстрее, то внезапно меняя направление движения, возвращаясь обратно, и вновь тонуло в непроглядной глубине. И поскольку все это, словно осколки стекла, никак не могло раствориться, то неизбежно присутствовало во всех версиях случившегося, составляя их основу, необходимую закваску, без которой тайна никак не могла створожиться во что-то конкретное и осязаемое.

Склонившись над папками, аналитики злились на самих себя: никогда еще с ними не было такого, чтобы рассудок так легко бросал одно подозрение, чтобы ухватиться за другое. Первая мысль, которая, к примеру, рождалась у каждого, столкнувшегося с разговорами о тени, это было подозрение, что именно эта тень и убила Преемника. Стоило, однако, попробовать разобраться в этом более тщательно, как возникали серьезные сомнения. Даже если предположить, что тень (или Адриан Хасобеу, как ее теперь называли), действительно входила в дом, кто может знать наверняка причину этого позднего визита? Приходила ли она, чтобы убить, или чтобы подтолкнуть к самоубийству? А если и ни то, и ни другое, а приходила она совсем с противоположной целью, убедить его не совершать самоубийства, поскольку на следующий день на заседании Политбюро его должны были простить?

И словно всего этого было мало, тут еще и подземный переход, о котором сообщали некоторые исследователи, окончательно все запутывал. То тут, то там в папках с делом встре-

чались короткие пометки: «Попытаться выяснить что-нибудь у архитектора дома, если он еще жив». Хорошо известно, что фараоны, после окончания строительства пирамиды, первым делом убивали архитектора.

Во всей этой истории было что-то от пирамиды. Со всех сторон возвышались стены, не дававшие идти дальше. Главная камера пирамиды, скрывавшая самую большую тайну, запиралась изнутри. Похоже, что в истории Преемника был использован этот древний принцип.

Мысль эта приносила облегчение. За четыре тысячи лет тайны пирамид все еще не были полностью раскрыты. К чему же тогда аналитикам проявлять поспешность с этой историей?

Воспользовавшись этим туманом, медиумы, которые в последнее время, после почти полувекового перерыва, вновь входили в моду в области государственных тайн, решили было вмешаться. После установления контакта с душой Преемника, то, что им удалось вытянуть из него, было настолько темным и не поддающимся толкованию, что один за другим они от этой затеи отказались.

Албания, на удивление, погрузилась в глубокое молчание. Рядом с ней другая Албания, внешняя, застыла в болезненном оцепенении под зимним небом, словно разбитая ударом. Одно и то же пустое декабрьское небо простиралось над ними так безнадежно тоскливо, словно под ним не одна, а сразу две зимы вертелись и выли серыми волками.

ГЛАВА ВТОРАЯ

АУТОПСИЯ

1

Откуда возникло то ощущение радости, с которой не может сравниться ничто на этом свете? С бокалом шампанского в руке, Сузана легким ветерком порхала среди приглашенных. Огромный дом, заброшенный с момента самоубийства ее отца, был как некогда, полон звуков и огней. И никого это не удивляло, более того, никто даже не задавался вопросом, как могло случиться невозможное и все снова стало как раньше. Кого-то из гостей она не знала, но и это не вызывало удивления. Точно также никто не обращал никакого внимания на темные, перегоревшие лампочки в давно уже не зажигающихся люстрах. Во второй раз она услышала слова: «кто старое помянет!» и стала вновь искать взглядом отца. Хотя он и был в центре всеобщего

внимания, но сидел немного в стороне, с еле заметной улыбкой на лице, словно недавно он чему-то радовался, и улыбка осталась как след этой радости – легкий, ускользающий. Сузана вновь увидела белую повязку, выглядывавшую из-под пиджака и, похоже, прикрывавшую заживающую рану. Она поставила мешавший ей бокал с шампанским, чтобы подойти к нему и просто спросить: папа, как ты себя чувствуешь? И как раз в этот момент она вдруг вспомнила, что до сих пор не видела своего жениха, Генци, и чуть не закричала: да как же так получилось, что только он и не пришел?

Этот чуть не вырвавшийся у нее вскрик, похоже, и разбудил ее. Как и в прошлый раз, когда она видела тот же самый сон, ее охватила ужасная тоска. Она, должно быть, плакала во сне, потому что подушка была мокрой.

Она прижалась к ней лицом в надежде, что снова заснет, но тут ей показалось, что она слышит какой-то шум. Она приподняла голову и, прислушавшись, поняла, что ей не померещилось. По дому кто-то ходил.

Она взглянула на окно. Потом включила свет у изголовья и посмотрела на часы. Была половина седьмого утра, но небо за оконным стеклом было еще темным.

Шум снова повторился. Это не были шаги матери или брата, который в это время обычно шел в ванную. Это было что-то другое. Тревога сдавила ей грудь, но при этом где-то в глубине она испытывала не страх, а чуть ли даже не радость, словно сон продолжался.

В каком-то оцепенении она встала и подошла к двери. Перед тем как ее открыть, она замерла и снова услышала шаги и голоса.

В коридоре было тихо, но снизу доносились приглушенные голоса и шаги. Двери комнат матери и брата были закрыты. Она подошла к перилам лестницы и наклонилась, чтобы по-

смотреть вниз. Горел свет в столовой и в большой гостиной, в той самой, которую она видела во сне.

Сердце у нее снова будто провалилось куда-то на мгновение. С самого дня самоубийства отца, они, даже если бы и захотели, не могли зайти в ту часть дома, потому что двери были опечатаны Министерством внутренних дел.

Она медленно повернула голову, чтобы взглянуть еще раз на двери комнат, в которых спали ее мать и брат, и тут ее глаза расширились от ужаса: она увидела другую дверь, дверь спальни отца. Бритвенно-узкая полоска света ясно видна была под дверью. Отец, закричало все ее существо: легкие, глаза, волосы. Это была та самая полоска света, которую она видела до двух часов ночи, той роковой ночи. Она поняла, что находится во сне, раз уж она не упала, словно сраженная молнией. Медленно, опасаясь, что может опять проснуться и упустить еще одну возможность увидеть вернувшегося отца, она пошла к двери. Она спала, не могло быть никаких сомнений, если, конечно, она не сошла с ума, поскольку ей показалось, что она может вновь увидеть отца, в той самой комнате, где она видела его мертвым, с дыркой от пули в окровавленной рубашке.

Еще один шаг, и еще один. Держись, сказала она себе. Терять тебе уже нечего!

В это время дверь открылась. Оттуда торопливо вышел незнакомец. В руках у него было что-то черное, напоминавшее допотопный фотоаппарат. Он взглянул на девушку с легким удивлением, и, ничего не сказав, стал быстро спускаться по лестнице, перескакивая через две и даже три ступеньки.

Из комнаты, из-за двери, которую незнакомец оставил открытой, раздался сердитый голос. Сузана разобрала слово «аутопсия».

Что это значило? После всех этих ужасов не хватало только, чтобы они произвели ему теперь аутопсию! Этими своими древними приборами, похожими на фотоаппарат.

Сузана схватилась рукой за лоб. Сон продолжался, не могло быть никаких сомнений. Или она сошла с ума.

Изнутри снова донеслись голоса. Она услышала слова: «Не произвести аутопсию, это же скандал!»

Дверь распахнулась до конца. Быстрым шагом, с красным лицом, горящим от гнева, вышел человек, который показался ей похожим на нового министра внутренних дел. Из двух человек, сопровождавших его, одного она знала. Это был архитектор, спроектировавший дом, единственный, кто присутствовал и в только что виденном сне.

Министр посмотрел на нее с удивлением. Остановился и сказал: «Доброе утро!». Потом добавил: мы вас разбудили?

Девушка не знала, что ответить.

Архитектор тоже поприветствовал ее кивком головы.

- Мы проведем тут кое-какие следственные действия, - сказал министр и направился к лестнице.

Двое других следом за ним. Когда они спускались, Сузана снова услышала слово «аутопсия» и после этого «скандал».

И голос и взгляд министра ей показались вполне доброжелательными...

Ей показалось, что она пришла в себя. Они пришли, похоже, еще ночью, чтобы что-то расследовать. Членов семьи предупредили на следующий же день после смерти отца, сообщив им, что они могут жить в своей части дома, но не имеют права открывать комнаты, опечатанные красным сургучом. В них будут время от времени проводиться следственные действия. Ключи у кого надо есть.

Сказав это, они, тем не менее, так и не появились. Сейчас они пришли в первый раз. Если бы у нее было право на единственный вопрос, она бы спросила: почему так поздно?

Девушка почувствовала, что плечам холодно. Ноги сами принесли ее к комнате матери. Как могло случиться, что ее не разбудила вся эта суета?

Она осторожно повернула ручку и толкнула дверь. «Мама!», тихо позвала она, чтобы не напугать ее. Но та крепко спала.

Девушка остановилась на пороге в сомнении. Странно, сказала она себе. Она обычно просыпалась до рассвета, а сейчас спала как убитая! Точно так же, как тогда, ночью 13 декабря!

- Мама, - позвала она снова.

Понадобилось какое-то время, чтобы женщина проснулась. Лицо у нее было встревожено.

- Что такое? – спросила она. – Что случилось?

- Там пришли, проводят следствие... они там, в комнате отца и внизу в гостиной.

Глаза женщины, несмотря на то, что были широко распахнуты, казалось, ничего не видели.

- Какое следствие? Зачем?

- Следствие, - сказала девушка. – Там сам министр. Говорят, что будут проводить аутопсию.

Волосы, как и глаза, выдавали замешательство женщины. Казалось, из них еще не выветрились остатки сна.

- Что за аутопсия? Почему они не оставят нас в покое?

- Будут проводить аутопсию, - повторила девушка. – Они даже сказали, это скандал, что аутопсия не была проведена. Мама, - мягко продолжала она. – Мне кажется, что это... не так уж плохо.

- Это почему? – проговорила женщина, уткнувшись лицом в подушку. Ее голос звучал теперь глухо. – Что в этом хорошего? Тебе только аутопсии еще не хватало?

Девушка прикусила нижнюю губу. Она хотела уйти, но потом передумала.

- Мне кажется, это хороший знак... То, что началось расследование, это уже хорошо. Известно ведь, что были подозрения о том...

- Закрой лучше рот, - воскликнула женщина. – Несчастные мы!- горестно разрыдалась она немного погодя. – Сколько еще бед на наши головы!

Девушка, печально нахмурившись, опустила голову и вышла.

В коридоре она вновь окунулась в полумрак. Снизу доносились приглушенные голоса и шаги. На улице светало.

Она вернулась в свою комнату, дрожа от холода. Несмотря ни на что, у нее осталось ощущение, что произошло что-то хорошее. Взгляд министра был вполне доброжелательным. И тем более голос. Насколько сурово он звучал, когда речь шла об аутопсии, настолько он мгновенно изменился, когда министр обратился к ней: мы вас не разбудили?

Кто-то не хотел, чтобы проводилась аутопсия... И кого-то привлекут за это к ответственности... Аутопсию не проводят тогда, когда нужно что-то скрыть... Тогда становится понятно, что... Было ли это действительно самоубийство или... или... убийство... В подобных случаях в первую очередь производится вскрытие... Тем более, когда покойный был таким важным человеком... Тогда, действительно, кто-то хотел что-то скрыть... А теперь кто-то другой хотел, чтобы скрытое было обнаружено... Более того, само сокрытие он назвал «скандалом»...

О Боже, сделай, чтобы так оно и было! взмолилась девушка. Сейчас она больше не удивлялась, что упоминает забытое слово.

Истина будет раскрыта, однажды она непременно будет раскрыта... Партия... как всегда... как всегда... И наш боевой товарищ, верный соратник, незабвенный друг, не покончил с собой, как полагали вначале, но был убит... предательски убит... врагами Партии... заговорщиками... предателями...

Сколько раз она мечтала, чтобы эти слова произнес Вождь, с обитой красной тканью трибуны, по радио, по телевидению. И впервые ей показалось, что это и в самом деле возможно.

Сделай, чтобы так и было, о Боже! взмолилась она снова.

Она лежала с закрытыми глазами, лелея робкую надежду, что утренний прерванный сон может продолжиться. Редко, очень редко, но ей это удавалось. Но даже когда такое случалось, во сне никогда нельзя было ничего исправить. Она попыталась воскресить сон в памяти, но тут же поняла, что, как бы ни пыталась, не сможет воссоздать ни его цвета, ни обволакивающую нежность, исходившую в виде розовых лучей. Единственное, что она ощущала, как и раньше, это неприятный привкус неоплаченного долга, который она почувствовала в последний момент перед пробуждением. Может быть, именно потому она хотела так вернуться обратно, хотя бы и на несколько мгновений, в гостиную из своего сна, что ей было необходимо вернуть этот долг. Вот только теперь она была уже не в состоянии разобраться, о чем она сожалела сильнее: о том, что так и не смогла поговорить с отцом, или о том, что так поздно вспомнила о своем женихе...

2

Надо будет нам снова собраться, проговорил министр беззаботным тоном, чуть ли не радостно.

Можно было подумать, что это не слова одного из высших государственных чиновников, ответственного за проведение важной аутопсии, самой важной в истории албанского коммунистического государства, и даже возможно, во всей албанской истории, а слова, сказанные на прощанье после дружеской вечеринки в роще на берегу искусственного озера в Тиране: рыба в этом ресторанчике просто замечательная, надо будет нам снова собраться, а?

Мы ведь справимся с этой работой, верно?

Направляясь по Большому бульвару в сторону гостиницы «Дайти», судмедэксперт Петрит Залхери снова и снова повторял про себя эти слова, и они казались ему все более неожиданными.

Сидевший рядом с министром архитектор слушал его с глазами, блестящими от нездорового любопытства, или праздничного возбуждения, словно перед цирковым представлением или во время свары на базаре, когда досужие зеваки потирают руки и радостно приговаривают: ой, что сейчас будет!

Они ослепли оба, или прикидываются? спрашивал себя медик, глядя, как они благодушно общаются друг с другом, словно не осознавая всей степени своей ответственности.

Сам он прекрасно помнил тот момент, когда его официально уведомили, что он будет проводить одно важное, чрезвычайно важное вскрытие. Речь шла об аутопсии Преемника.

На какое-то время он словно оглох. Мир стал совершенно беззвучным, и во всем его существовании все замерло: мозг, дыхание, перестало биться сердце. Затем, когда все стало возвращаться обратно, в сознании у него оформилась четкая мысль: ну, вот и конец всему этому!

«Всем этим» была его жизнь.

После подобной аутопсии жизнь человека, который должен был ее проводить, казалась такой же невозможной, как на Луне.

В ужасающей тишине, нарушаемой только распоряжениями министра, невольно и совершенно хладнокровно врач тут же принялся подводить итоги собственной жизни... Он прожил ее как мог достойно, а было это непросто при такой опасной профессии. Будучи легким объектом для критики по причине «полубуржуазного» происхождения своей семьи, он легко пережил кампанию по разоблачению и осуждению «интеллигентской группы врачей Тираны», пренебрегавших советским

опытом, поскольку был еще студентом. После этого судьба убе-
регла его от попадания в другую преступную группу, на этот раз
смешанную студенческо-преподавательскую, которая была
уличена в высмеивании босоногих китайских врачей, в эпоху
дружбы с китайцами.

Слова министра звучали отрывисто, уверенно, со скрытой
угрозой. Не было сделано то, что является обязательным для
каждого гражданина, и уж тем более для Преемника, то есть
не была произведена аутопсия.

Врач пытался сосредоточиться, и именно эти напряженные
попытки, как ему казалось, приводили к совершенно противо-
положному результату...

Итак, будет проведена аутопсия, хотя и с опозданием, про-
должал министр. Правда будет раскрыта, независимо от того,
понравится это кому-то или нет. Глаза министра сверкали от
искреннего негодования.

На том собрании, посвященном китайцам, негодованию
представителей Центрального Комитета не хватало как раз ис-
кренности.

Они притворялись, что охвачены гневом, стучали кулаками
по столу, кричали, но видно было, что за всем этим скрывается
холодное равнодушие, словно огонь, который никак не может
разгореться. Тем не менее, ужас, вызванный этой холодной
яростью, был ничуть не меньше, чем любой другой, сопрово-
ждаемый ахами и охами. В завершение всех этих собраний,
когда все с застывшей в жилах кровью ждали оглашения приго-
воров, пронесся первый шепоток о разрыве с китайцами, сразу
после чего кампания прекратилась как волшебству.

Все будет сделано по всем правилам, столь же жестко про-
должал министр. Кроме вскрытия, будет проведена экспертиза
оружия. В комнате следует произвести выстрелы из того же
оружия, которое использовала жертва. Нужно определить,
слышны ли выстрелы снаружи. Во дворе дома, где находились

охранники. В коридорах. В других комнатах, где спали члены семьи. Все должно быть сделано с абсолютной точностью. Будет выбрана дождливая ветренная ночь, такая же, как и ночь 13 декабря. Будут произведены выстрелы из обычного револьвера, затем из револьвера с глушителем.

Врач невольно поймал взгляд архитектора. Где это видано в нашем мире, чтобы стрелялись с глушителем? В глазах у того, вместо хотя бы малейшей искорки недоверия, было все то же нездоровое опьянение.

Он действительно ничего не понимал или это было у него своего рода защитной реакцией?

Итак, при проведении следственного эксперимента будет использовано оружие с глушителем, повторил министр и тут же, словно прочитав мысли врача о том, что упоминание глушителя в данном случае равносильно открыто высказанному подозрению в убийстве, добавил: нет нужды вам напоминать, что все... вот это... останется между нами.

Теперь не оставалось ничего другого, кроме как открыто заявить, что после завершения всего этого, Преемник будет объявлен убитым, то есть мучеником революции, и все подозрения, окутывавшие черными тучами его имя, развеются в одно мгновение. И начнется процесс над другими, теми, кто свел его в могилу.

Как бы то ни было, самое главное – это вскрытие, проговорил министр, чуть ли не с любовью глядя на врача.

Естественно, пробормотал про себя Петрит Залхери.

Он всегда знал, что из-за какой-нибудь аутопсии ему и придет конец.

Думаешь, ты меня этим обрадовал? про себя спросил он министра.

Он знал это, без всяких сомнений. В такое время нет ничего более зыбкого, чем отношение к результатам вскрытия. Сегодня его результаты могут соответствовать требованиям време-

ни, а завтра может оказаться совсем наоборот. Несколько недель назад с кладбища мучеников революции было эксгумировано тело Кано Жбиры, бывшего члена Политбюро, покончившего с собой много лет назад. Его уже в третий раз извлекали из могилы. Любые изменения в политической линии, еще до того, как их чувствовала на себе экономика, чувствовали на себе его останки. Его посмертный ревматизм, *rheumatismus postmortem*, болезнь еще неведомая в этом мире, был точнее любых прогнозов аналитиков. Сразу после самоубийства (и естественно, перешептываний об убийстве), он был с почестями похоронен на кладбище павших героев. Через некоторое время его извлекли оттуда, чтобы перезахоронить на гражданском кладбище Тираны, по просьбе югославов, поскольку в его личном деле был обнаружен антиюгославизм. Год спустя, после разрыва отношений с югославами, тело извлекли, чтобы захоронить там, где оно и было раньше, на кладбище мучеников революции, на этот раз как героя-антиюгослависта. Последняя эксгумация, чтобы перезахоронить его обратно на гражданское кладбище, была произведена почти тайком, по причинам, которые на этот раз были никому неведомы.

Птичий гомон заставил его поднять глаза. Он вспомнил, что у него вызывала улыбку мысль о том, что не так уж были неправы древние, когда по полету птиц пытались предсказывать политические изменения.

Они все пропали, никаких сомнений. Вместе с возглавлявшим их министром. Они оба с архитектором так ничего и не поняли, или продолжали прикидываться. Они не скрывали, что все это их забавляло, шушукались друг с другом, словно они были не министр и архитектор, а парочка легкомысленных приятелей, которым все как с гуся вода! А напоследок, перед тем, как они все разошлись, министр отвел его в сторонку, и она оба скрылись в подвале дома.

Врач тут же забыл о них, и принялся размышлять об аутопсии. Своего рода грустным утешением для него было хотя бы то, что это была важная аутопсия. Потому что могло случиться что-нибудь вроде того, что произошло с его коллегой, Ндре Пьетергегой, когда один цыган из Браки устроил ему засадку возле двери и после вопля: доктор, сволочь ты такая, это ты сказал, что моя девочка беременна? застрелил его.

Вид желтых листьев в парке рядом с бульваром вызвал у него печальный вздох. Неизвестно почему, в голове вертелась старинная песня гомосексуалистов, услышанная много лет назад в Шкодере.

*У визиря две свечи
Горели вечерком
Сульчабега, матушка,
Зарезали ножом*

Девушка в ночной рубашке, под которой чувствовалось трепетание плоти, стоявшая в коридоре дома Преемника, неожиданно всплыла в его сознании. Ее замужество, то есть она сама, и стала причиной несчастий, свалившихся на ее отца. И, естественно, на всех остальных тоже.

Когда он входил в гостиницу «Дайти», вопрос о том, почему выбрали именно его, Петрита Залхери, для проведения такой ответственной аутопсии, снова незаметно всплыл сам собой. Лучше не ломать себе голову, пытаясь ответить на него, да и на другие вопросы. Жизни его был отмерен определенный срок, и ему нужно было использовать его наилучшим образом. Кофе, который он собирался пить в отеле, предназначенном только для иностранцев и элиты, был началом наслаждения тем высшим спокойствием, которое постепенно его охватывало. Это было то освобождение, которое называется «могильным спокойствием», и которым никому еще не удавалось как следует

насладиться, потому что приходило оно только вместе со смертью. А к нему оно пришло заранее.

Твердым шагом, не глядя ни на кого из клиентов бара, он направился прямо к свободному столику. Он холодно взглянул на официанта и высокомерно проговорил: один эспрессо!

3

В двух сотнях шагов оттуда, подняв воротник пальто, архитектор спешил домой. Жена велела ему как никогда строго: закончишь работу, иди прямо домой! Чтобы никаких кафе, никаких клубов, никаких «я встретил по дороге того или этого», слышал? Я буду ждать, сердце и так не на месте, понимаешь? Наша жизнь, жизнь детей, все зависит от сегодняшнего дня, понятно тебе?

Архитектор взглянул на часы. Сразу после ухода судмедэксперта, в тот момент, когда он протянул министру руку, чтобы попрощаться, тот негромко сказал ему: задержись-ка на секундочку!

Он приобнял его за плечо, характерным жестом высших чиновников, когда они хотят выказать свое расположение к интеллигенции и, отведя его так на пару шагов, еще больше понизив голос, чуть ли не шепотом спросил его: а что там с этим подземным ходом?...

Архитектор опустил взгляд, затем отрицательно покачал головой. Ничего об этом не знаю, в первый раз об этом слышу. Министр не сводил с него глаз, но в этом взгляде была скорее теплота, чем сомнение. Пустопорожняя болтовня всякой сволочи, которая отирается по кабакам, продолжал он с отвращением. Если уж тебе, архитектору, построившему дом, ничего об

этом не известно, то откуда могут знать они? И выругался: собаки, сучьи дети, трепачи, могила их только исправит, дождутся, что их за яйца однажды повесят!

Когда он перестал ругаться, и архитектор собрался уже уходить, министр, вновь понизив голос, предложил ему: давай-ка все-таки спустимся туда вместе, посмотрим, что там внизу?

У архитектора от потрясения все поплыло перед глазами. Ноги ослабели. Впереди шел охранник. Архитектор давал короткие пояснения: этот коридор ведет к запасному выходу в сад. Дверь там нельзя открыть снаружи, она закрывается изнутри на засовы. Другой коридор ведет в бомбоубежище.

Ему казалось, глаза у него вытарашены, как у человека, который ожидает, что вот-вот увидит привидение. Здесь нет ничего. Здесь тоже стена. Здесь...

Ну, держись, только не рухни! Слова эти адресовались в первую очередь не ему самому, а третьей стене. Самой обычной, как миллионы стен в этом мире. Но он знал, что внешность была обманчивой. За стеной скрывалась тайна, которую немногим дозволено было знать: дверь.

Ничего не могло быть сейчас ужаснее для архитектора, чем вид этой двери. Эту дверь сделали без его ведома, и тем не менее, если пошли какие-то слухи, вину за это возложили бы на него. Как хотел бы он ничего не знать, и даже не слышать о ее существовании, но несчастная судьба его сложилась иначе. За несколько дней до окончания строительства дома, когда по просьбе сына Преемника они спустились в подвал, чтобы посмотреть, насколько хорошо звукоизоляция бомбоубежища позволяла устраивать там шумные вечеринки с танцами, сын, показав на едва заметную дверь, проговорил радостно: а вот и та дверь, которая, говорят, ведет в подвал Самого! Под Самим подразумевался Вождь. Удивившись, что архитектор ничего об этом не знал, юноша даже и не скрывал своего сожаления о том, что проговорился. Затем он попросил никому не раскры-

вать эту тайну. Но тем же вечером, как он обычно и поступал в отношении всех тайн, которые нужно было забыть, архитектор рассказал о ней жене. Она, со своей стороны, как обычно, расплакалась и сквозь слезы повторяла сотни раз: а теперь замолчи! Забудь об этой двери! Раз уж никто об этом не знает, кроме двух семейств, значит, и тебе знать не положено! Более того, именно от тебя, от архитектора дома, это и скрывали. Это значит, что как раз тебе-то и нельзя об этом знать!

После смерти Преемника разговор о секретной двери снова сам собой возник у них, и в еще более мрачных тонах. А ты уверен, что никому не говорил? А ты уверен, что никому никогда не расскажешь? Никогда, клялся он, даже могиле! Особенно сейчас, продолжала она. Теперь сразу подумают о самом худшем: о подземном тоннеле, соединяющем два дома. Об убийцах, которые могли по нему пройти. Ой-ой-ой! Горе мое горькое!

В то утро, когда он уже уходил, жена с беспокойством еще раз напомнила ему: осторожно там с этой дверью! Ты архитектор. Ты ни в чем не виноват! Только в одном тебя могут обвинить: что ты видел эту дверь.

Несколько часов, пока они бродили по дому Преемника, архитектор повторял про себя: скорее бы все это было уже позади, о Боже, скорее бы закончился весь этот ужас! И вот, в самый последний момент, когда он уже стоял на пороге, собираясь уходить, его поджидала ловушка, слова министра: давай-ка спустимся туда вниз? Приглашение спуститься в ад ужаснуло бы его меньше.

Архитектор заметил, что уже подошел к дому. Его жена наверняка изнемогала от волнения, дожидаясь его возвращения. Он быстро взбежал по ступенькам. Дверь квартиры открылась, едва он поднес руку к звонку. Жена, действительно, стояла за дверью. Она дрожала как былинка. Он обнял ее и прижался к ее щеке. Волосы мешали говорить. Наконец-то все позади, все

позади, повторял он. А она говорила: ты ужасно бледный. Пойдем, тебе нужно отдохнуть.

Они пошли в спальню. Он упал навзничь на постель и снова произнес: О Господи, все позади! Она опустилась рядом и гладила ему волосы, в то время как он принялся рассказывать. Насколько точен он был в рисовании проектов, настолько же сумбурно рассказывал. Когда он дошел до спуска по ступеням в подвал, она схватила его за руку. Ему, неизвестно почему, вспомнилась старая мусульманская молитва, которую читают над усопшим: не бойся теперь идти в одиночестве сквозь этот мрак!

Так он и спускался, ступенька за ступенькой, вслед за министром, ожидая, что вот-вот перед ним покажется дверь. И неожиданно, вместо нее, вместо черного приговора оказалась стена. Свежий запах известки и раствора свидетельствовали о том, что она была возведена только что. Два-три дня назад, не раньше. Но мне она показалась самой прекрасной стеной в мире. О благословенная стена, сказал я про себя. Стена надежды, стена молитв. Мне захотелось опуститься перед ней на колени, как это делают евреи перед этой своей стеной в Иерусалиме. Поплакать, дать волю чувствам. Я знаю, что именно меня удержало. Министр, без сомнения, следил за мной. Это, без сомнения, было испытанием для меня. Я попытался представить, что он напишет в рапорте: перед стеной архитектор не выказал удивления. Так же, как и раньше, когда я упомянул секретный проход.

Жена продолжала гладить его по голове. Все позади, о великий Боже, все уже позади, снова и снова повторяла она. Все это закончилось, наконец. Для нас, да, сказал он. Для нас закончилось, но не для тех, кто ее построил! Вот для этих бедолаг начался настоящий кошмар. Если они все еще живы с тех пор.

Ей показалось, что он хотел сказать что-то еще, но колебался.

- Поспи немного, - сказала она ему. – Хочешь, я полежу рядом?

- Полежи, душа моя!

Она совсем разделась и мягко прижалась к его телу. Спи, успокойся, шептала она ему на ухо. Но он никак не мог успокоиться. Казалось, он хочет добавить что-то еще. У тебя еще что-то, спросила она в конце концов. Он утвердительно кивнул головой. Да, верно, есть еще кое-что. Не могу утерпеть. Женщина замерла. Ты ведь мне все уже рассказал, разве нет? нежно прошептала она. Больше ничего нет, спи теперь!

Нет, сказал архитектор. Лучше я избавлюсь от этого. Так мне будет спокойнее... Та дверь...

Женщине показалось, что он закричал. Снова эта дверь! Но ты сказал, что ее закрыли стеной. Замуровали навсегда...

Так оно и было. Но ты не бойся! Это другое. Однажды...

Жена снова схватила его за руку и ему опять вспомнилась старая мусульманская молитва.

И ясными, на удивление точными словами, он рассказал все. Однажды, через некоторое время после того, как сын Преемника заговорил о двери, он спустился, чтобы снова на нее взглянуть. Проклятое любопытство привело его туда. Так вот, спустился он и стал искать дверь в полумраке. Он довольно долго ее ощупывал, как это делают слепые, пока не убедился в том, что у нее есть одна таинственная особенность, в которой он до этого не был уверен: эта дверь открывалась только с одной стороны, со стороны Вождя. Там должны были быть засобы, а тут, со стороны Преемника, не было ничего.

Не понимаю, перебила его жена. И в этом и заключается тайна?!

Архитектор горько улыбнулся. Да как она не понимает? Великие тайны всегда просты. Вождь, его люди, могли войти, когда только пожелают, в дом Преемника. На рассвете, в полночь. А вот Преемник не мог попасть к Вождю. Никак. Но этого

мало: он даже не мог запереть дверь изнутри. Не полагалось. Он не имел на это права. Вот так, похоже, строились их взаимоотношения.

Жена поняла наконец. Некоторое время она была не в состоянии говорить. То есть, убийцы могли войти туда когда хотели... произнесла она наконец. Ты хоть понимаешь, какую ужасную вещь мне рассказал, несчастный?

Конечно, ответил он. Потому до сих пор и не рассказывал. Сам не знаю, как мне удалось держать это про себя. Словно в груди у меня разверзлась пропасть. Теперь, когда я тебе рассказал, я освободился.

Жена снова принялась его гладить.

Бедняжка, медленно проговорила она.

Эта дверь, продолжал архитектор, открывается только в одну сторону, как дверь на тот свет.

Жена прижалась к нему всем телом. Им нужно забыть обо всех этих мучениях. Теперь, когда он изверг из себя это зловоение, им нужно обоим поклясться, что они никогда не будут даже упоминать об этом. Даже посреди пустыни, где духом человеческим и не пахло. Потому что тайна даже оттуда может вырваться. Как в той истории с цирюльником, который однажды стриг всемогущего властителя края. Звали того властителя Гьорк Голем, если не ошибаюсь? Расскажи мне еще раз, пожалуйста!

Она принялась рассказывать, точно так же, как и когда-то давно, тихим голосом, словно напевала колыбельную. Прикрыв глаза, он представлял себе пустынную равнину, по которой цирюльник, только что вышедший из дома владельца, брел, словно потерянный. Тайна, которую он узнал, пока стриг волосы князю, была слишком ужасной. И угрозы владельца были не менее ужасными. Если хоть где-нибудь ты хоть слово скажешь о том, что видел у меня на голове, горе тебе, о человек! Цирюльнику казалось, что знание о том, что он увидел -

два небольших рога на задней стороне черепа, там, где началась шея - невозможно было удержать внутри. Оказавшись посреди зимней пустынной равнины, попытался отыскать он самый пустынный уголок, где можно было бы сказать об этом вслух. И вот, остановился он у края заброшенного колодца, где лишь несколько побегов тростника дрожали под ледяным ветром, и там, склонившись над колодцем, сказал:

*То, что знаю, не сдержу, хоть кому-то расскажу:
Гьорк Голем, властитель края, от людей рога скрывает.*

И, успокоившись, пошел в сторону деревни, уверенный, что теперь, когда он избавился от тайны, она не будет его больше мучить, ни в таверне, ни дома. Однако немного погодя один проходивший мимо пастух остановился на том самом месте и срезал тростинку, чтобы сделать из нее флейту. Он быстренько смастерил флейту, как это умеют пастухи, сделал семь отверстий, поднес ко рту, чтобы сыграть, но из флейты, к его изумлению, вместо знакомой мелодии, донеслись слова: то, что знаю, не сдержу, хоть кому-то расскажу, Гьорк Голем, властитель края, от людей рога скрывает...

Что за ужасная история, проговорил он, а жена шептала ему на ухо, что теперь, когда он выпустил все это наружу, он наверняка успокоится, и даже вспоминать не будет об этой проклятой двери. Более того... более того, если он, как пастух, захотел бы избавиться от своей тайны возле какого-нибудь колодца, пусть он склонит голову над ее колодцем, там, внизу... Разве он сам не говорил, что этот колодец темнее и надежнее хранит тайны, чем любой другой колодец?

Он сделал так, как она сказала. И хотя слова, долетавшие из ее лона, звучали приглушенно, она смогла разобрать: то что знаю... не сдержу, хоть кому-то... расскажу... двери той бояться... нужно... открывается... снаружи.

Она была настолько охвачена ужасом, что даже не рассмеялась. Затем перешептывания стали смешиваться со стонами их обоих, пока они наконец не уgomонились.

Жена уже думала, что его сморил сон, когда вдруг услышала шепот. По всей Тиране, все те, кто подозревал, что Преемника убили, шепотом задавали друг другу все тот же вопрос: кто его убил? Самые разные подозрения возникали, и никому в голову даже не могло придти, кто же настоящий убийца.

Спи давай, сказала она. Забудь ты обо всем этом! Ты весь вымотан.

Буду спать, но не могу не сказать тебе еще кое-что! Это самая последняя, всем тайнам тайна, после которой ничего уже не останется, поверь мне!

Нет уж, хватит, запротестовала жена. Не хочу ничего больше слышать!

Это последняя, поверь мне! А дальше будет тишина.

Ее молчание он принял за согласие. Он приблизил губы к ее уху и проговорил: убийца, которого все ищут и которого никогда не найдут... это я.

Женщина с трудом удержалась, чтобы не разрыдаться.

Ты меня считаешь сумасшедшим? Ты мне не веришь?

Взгляд у него был холодным и пустым, как никогда раньше.

Даже ты мне не веришь? глухо продолжал он. Взгляд его становился все более суровым, и ей показалось, что все покапилось куда-то вниз и вот-вот наступит момент, когда ничего уже нельзя будет исправить.

Она склонилась к нему, нежно поцеловала и прошептала ему на ухо: Конечно, я тебе верю. Кто же еще, кроме тебя, мог это сделать?

Он нащупал ее руку, поднес ее к губам с благодарностью и тут же уснул.

Облокотившись на локоть, она вглядывалась еще какое-то время в его изможденное лицо, на которое, на удивление, легла тень умиротворения.

Бедолага ты мой, пробормотала она про себя и разрыдалась. Все-таки они своего добились, свели тебя с ума.

В албанской столице совершенно неожиданно похолодало. Едва ли кто вспомнил, что конец марта месяца — то самое время, когда согласно старой поговорке, он выпросил у своего брата, февраля, три дня займы, чтобы заморозить кого-то, его оскорбившего.

У поднявших для защиты от холода воротники людей, спешивших по приглашениям в один из четырнадцати главных залов столицы, в голове были другие заботы. Они знали, что должны присутствовать на чрезвычайно важном собрании, на котором им должны были сообщить нечто, тоже крайне важное, имеющее отношение к Преемнику, но больше они ничего не знали и даже предположить не могли.

Переполох начался прямо с утра, когда в различных официальных учреждениях сотрудники, вскрыв конверты с приглашениями, обратили внимание, что не было никаких известных им иерархических критериев при выборе актового зала, где они должны были присутствовать. То, что машинистка заместителя председателя Совета министров получила приглашение в Оперный театр, который считался самым престижным, в то время как сам зампредсовмина был приглашен в актовЫй зал животноводческого техникума, где он в жизни никогда раньше не бывал, это было только началом сумятицы. Уже в зале приглашенных ждали новые сюрпризы. Не было, как это обычно заведено, ни длинного стола для президиума, ни кумачовой скатерти, ни цветов. Вместо этого был один-единственный стул за обычным квадратным столом, на котором стоял магнитофон. Но даже с этим можно было еще как-то смириться, по сравнению с другой неожиданностью, связанной с распределением мест для приглашенных. Рядовые сотрудники, академи-

ки, водители, седые женщины, члены Политбюро, министры переживали настоящие маленькие драмы, пока таращились, не веря собственным глазам, на номера мест, обозначенные на приглашениях, а потом молча садились друг возле друга. Какое-то время простые люди испытывали радость от соседства с высоким начальством, но почти сразу, непонятно даже отчего, радость сменялась страхом.

Через полтора часа все расходились совершенно ошарашенными. Они прослушали на магнитофоне запись выступления Вождя на заседании Политбюро, того самого, которое должно было состояться вечером 13 декабря, в присутствии Преемника, но которое было перенесено на следующий день, 14 декабря, поскольку было уже слишком поздно. В промежутке между вечером и утром произошло самоубийство Преемника.

Первая мысль, приходившая в голову после прослушивания этой речи, была о том, что Преемник, представивший, какому бичеванию его подвергнет Вождь на следующий день, решил не дожидаться назначенной ему пытки и опередил события, покончив счеты с жизнью. Однако, к их удивлению, в этой речи Преемник был прощен. Этого вполне было достаточно, чтобы установившийся у всех в головах порядок вещей перевернулся вверх тормашками.

Тысячи столичных жителей пережили то же самое потрясение, от которого сначала перехватило дыхание у членов Политбюро - намного раньше, утром 14 декабря. Не было на памяти еще случаев, чтобы пружина времени вдруг замирала, перестав раскручиваться. Из-за этого перерыва полных двенадцать часов, большая часть которых пришлось на ночь, плюс немного на следующее утро, были словно бесследно проглочены. Был суровый вторник, сохранявший, однако, внутри себя некую мягкость, доставшуюся ему от понедельника. Мягко, временами даже с сочувственными интонациями, звучал голос Вождя.

Он, как в старые времена, обращался к Преемнику по имени. А теперь, после того, как ты хорошенько еще раз все обдумаешь этой ночью, я уверен, что завтра, когда мы снова соберемся в этом зале, ты еще глубже осознаешь совершенные ошибки, и вновь будешь среди нас, среди любящих тебя друзей, и будешь и дальше, как всегда, приносить неоценимую пользу партии!

Завтрашний день наступил для всех, кроме Преемника. Было сказано, что эти слова ему не довелось уже услышать. Затянувшееся собрание и нехватка времени, вынудившие Вождя произнести: все товарищи из состава Политбюро уже высказались, теперь моя очередь, но, поскольку уже поздно, думаю, я выступлю завтра утром, - оказались роковыми для Преемника.

Из-за этого перерыва, этой узкой полоски времени между понедельником и вторником, мрачной щели, которую Преемник так и не смог перешагнуть, он сорвался в бездну. Все присутствовали при его прощании, кроме него самого.

Большинство слушателей испытывали скрытую горечь. Он, вытерпевший все тревоги и унижения той долгой осени, ну почему не мог он подождать еще одну ночь? Зачем было так спешить?

Голос Вождя был все таким же мягким, временами он казался даже растроганным. Слушатели переглядывались. Ах, ну что же Преемник наделал!

Но внезапно скорбную волну пронзал какой-то холодок. До какой степени могло доходить сочувствие? Сомнения, с которыми им так и не удалось расстаться этим утром, оживали вновь. Во всем этом было что-то неестественное. Это были слова из понедельника, когда Преемник был еще жив, но произнесены они были во вторник, когда он был уже всего лишь трупом. Прошрое, вопреки закону течения времени, стало будущим. Вчерашний день — сегодняшним. Им было от чего расстаться.

Вечером недоумение распространилось уже повсюду. В чрезвычайном возбуждении все вспоминали вновь и вновь мельчайшие подробности этой истории: ошибку Преемника, необычные обстоятельства сообщения о его смерти, отсутствие траура, слухи о некоей «тени», подозрения. И, как будто этого было мало, тут еще добавилась эта путаница между понедельником и вторником. Похоже, столица многое могла бы стерпеть, но вот чтобы время выскочило из сустава, порвав естественную связь событий — это было уже чересчур.

5

Албания по-прежнему полна переживаний в связи с тайной Преемника. Большинство докладов, составлявшихся в кабинетах разведывательных служб, начинались с более или менее похожей фразы.

После тщательного изучения двух уже рассматривавшихся версий: самоубийство или убийство, те, кто склонялся ко второму варианту, продолжали задавать вопросы: почему его убили? И кто его убил? Естественно, они надеялись, что ответ на первый вопрос поможет ответить и на второй. Но до сих пор не появилось никаких признаков того, что хоть на какой-то из них ответ будет найден.

Тем временем, одному медиуму из Исландии, предпринявшему новую попытку раскрыть загадку Преемника, удалось, наконец, получить какие-то результаты. Глухо, словно сквозь снежную толщу, донесся до него, как он уверял, хриплый стон покойного. Удалось, однако, кое-что разобрать: упоминалась ночь 13 декабря, а также какая-то женщина, а вернее, даже две женщины, присутствие одной из которых исключало, дела-

ло неестественным и даже невозможным, присутствие другой. У Преемника с этими женщинами было что-то вроде неоплаченного долга, который можно было трактовать при этом как просьбу, требование или угрозу. Толкования медиума, составленные, по неизвестной причине, помимо немецкого языка, также и на латыни, вызвали издевательские ухмылки в кабинетах секретных служб. Чтобы поверить в то, что тайна Преемника связана, пусть даже и косвенным образом, с какой-то амурной историей, нужно было быть человеком, не имеющим вообще никакого представления о происходящем в коммунистическом мире. Ответ примерно такого рода исландец, к полному своему отчаянию, и получил от аналитиков.

А тем временем в тысячах миль от него, в стране, где и произошло это событие, после того, как огласили речь Вождя, произнесенную сразу после таинственной смерти, албанская столица продолжала пребывать в состоянии полного замешательства. В густом тумане таинственности, окутывавшим происходящее, стали проглядываться, однако, приметы пересмотра отношения к фигуре Преемника и, возможно даже, его реабилитации. Запоздавшая аутопсия и новое расследование обстоятельств смерти, сопровождаемые слухами, которые, похоже, если и не распространялись умышленно, то, по крайней мере, не пресекались, как, к примеру, слухи о таинственной «тени», проникшей ночью в дом, или о том, что прислуга видела двоих, спускавшихся в подвал, держа под руки Преемника или его труп, и так далее и тому подобное.

В том случае, если это новое следствие склонялось к версии убийства, Преемник, похоже, вполне мог бы быть, в конце концов, провозглашен верным революционером, павшим жертвой группы заговорщиков, ситуация, как известно, вполне типичная для коммунистических стран.

Один из молодых аналитиков выдвинул идею, что Преемник, похоже, так и будет бродить из одной версии событий в

другую, словно неприкаянная душа по кругам дантовского ада. Последнюю фразу, впрочем, начиная со слов «словно неприкаянная душа» и до имени Данте, аналитик удалил из текста доклада, решив приберечь ее на будущее, может быть, для своих мемуаров.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СЛАДКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

1

Это утро было точно таким же, как и то, другое, разве что «они» пришли еще раньше. Отлично, пробормотала Сузана, уткнувшись головой в подушку. Она ждала их все эти дни. Ей казалось, что они теряют время, что они вообще решили отказаться и от аутопсии, и от всего остального. Отлично, повторила она и попыталась уснуть. Но звуки были какими-то странными, и ей пришлось встать.

В полумраке коридора, нервно кусая пальцы, стоял ее брат. Она не успела еще спросить «что происходит?», как он кивнул в сторону двери запертой комнаты, под которой, как и в прошлый раз, беспокойно мерцала узкая полоска света.

Изнутри донесся глухой характерный звук.

- Они стреляют в комнате отца, - тихо произнес юноша.
- Что? - изумилась она.
- Они там стреляют, не бойся!

– Ты рехнулся, - проговорила девушка.

Юноша не ответил. Он монотонно покачивался на своих длинных ногах, глядя в одну точку. Девушка вдруг поняла, что расстегнутая ночная рубашка оставляет наполовину открытой ее голую грудь, и в смущении попыталась нащупать рукой пуговицы, но безуспешно.

Снова раздался приглушенный звук выстрела. Вы все сошли с ума, подумала Сузана. В ее сонном еще сознании мысль о том, что они снова убивают отца, то есть стреляют в его труп, показалась ей настолько же правдоподобной, насколько и совершенно бредовой.

Ей показалось, что брат двинулся в сторону двери, и она схватила его за руку. Постой!

Молча, тесно прижавшись друг к другу, так, что им слышно было дыхание друг друга, они стояли и ждали, пока дверь, наконец, действительно не отворилась. Свет, горевший в комнате, осветил поспешно выходявшего оттуда человека. Они увидели, что в руках тот и в самом деле держит револьвер, из которого, вне всякого сомнения, только что стреляли.

Девушка почувствовала, что не в состоянии произнести ни слова — ни спросить «что вы тут делаете?», ни воскликнуть «безумие» или «ужас». Из полуоткрытой двери следом за человеком с оружием вышли еще двое, в белых медицинских халатах и с какими-то щипцами в руках. О, нет, простонала про себя девушка. Щипцы показались ей окровавленными. И, словно этого всего было мало, последний выходявший из комнаты держал в руках посудину, в которой лежал большой кусок мяса, и в самом деле окровавленного.

Это сон, подумала Сузана, теснее прижимаясь к брату. Это, вне всяких сомнений, был один из тех кошмаров, что в последнее время она видела все чаще и чаще. Ногтями она впилась в руку брата, но это не помогло ей проснуться. Не бойся, продолжал он успокаивать ее. Они проводят следственный экспери-

мент с оружием. Один из экспертов еще раньше ему все объяснил. Слышишь меня?

Сузана ничего не слышала. Он наклонился к ее уху, чтобы попытаться объяснить. Они проводят следственный эксперимент, чтобы проверить, слышен снаружи выстрел или нет. Понимаешь?

Во время следственного эксперимента стреляют в мясо, то есть в данном случае в говядину, потому что звук выстрела в настоящее мясо отличается от любого другого.

Наконец до Сузаны, похоже, стало доходить.

– А ты откуда все это знаешь? - перебила она его. - Ты что, сотрудничаешь с ними?

Теперь пришла его очередь воскликнуть: «Да ты чокнулась!»

Дни напролет сестра с братом обсуждали между собой возникшее подозрение, не могли ли кто-то из родни принять участие в организации убийства.

Он положил ей руку на плечо и отвел обратно в ее комнату. Она была благодарна, что он не сказал ей при этом: «Мало того, что из-за тебя все это и началось, ты тут теперь еще со своими глупостями!» И окровавленные щипцы, недавно так ее перепугавшие, да и все остальное — все это, без сомнения, было к лучшему. И вместе с этим, возможно, вернется что-то из прежней жизни.

Она попыталась снова уснуть, но безуспешно. Правая рука принялась ласкать грудь, потом живот, затем опустилась ниже. Ощущения были смутными, но она вдруг подумала, что вот уже почти пять месяцев не занималась любовью. Желание, как

ей казалось, угасшее навсегда, внезапно вернулось, острое как никогда.

Пять месяцев, пробормотала она. Да разве такое возможно? Она, которая раньше была убеждена, что не сможет и недели прожить без занятий любовью, вот уже пять месяцев провела монашкой.

Она вспомнила, когда в последний раз занималась любовью с Генци, в летнем доме на пляже, сразу после церемонии обручения. Была середина сентября. Дома на побережье пустили один за другим. Холодно еще не было, но они развели огонь в очаге.

Обнаженные, они улеглись рядом с ним, как у них было заведено последнее время. Необычайно сильное возбуждение охватило ее, сменившись затем громкими стонами. Он тоже, вопреки обыкновению, вскрикнул несколько раз, словно раненый.

Что это с тобой, спросила она его немного погодя, все еще срывающимся голосом. Горько усмехнувшись, она добавила, что по ее наблюдениям, сразу после занятий любовью тут же вспоминаешь главную на текущий момент проблему.

Генци внимательно посмотрел ей в глаза. А ты что, ничего не слышала?

Она утвердительно кивнула. Конечно, до нее дошли какие-то пересуды. Даже там, внутри «Блока». Но она думала, что все это не настолько важно, как может показаться. Известно ведь, что каждая помолвка порождает пересуды.

Он промолчал.

Сузана теребила пальцами кончики волос.

Хоть ты так и говоришь, ты явно беспокоишься о чем-то, продолжал он.

Девушка не стала скрывать, что так оно и есть, но вовсе не по той причине, о которой подумал он.

Мне нелегко это объяснить... Это связано с невезением, которое меня преследует с некоторых пор... Понимаешь? ... Я хотела сказать... со мной, которой это всегда так нравилось... так сильно, что ты даже представить себе не можешь... и чтобы именно со мной это случилось?

Но что случилось? перебил он ее. Ты ведь сама только что сказала, что сплетни в таких случаях это самое обычное дело.

Конечно, так и есть... Но все же возникла какая-то преграда, что-то испортило радость, не знаю, как тебе это объяснить... В таких деликатных вещах, как любовь, достаточно какой-то мелочи, чтобы испортить все удовольствие.

Краем глаза он косился на мелкие светло-каштановые завитки, словно пытался понять, как там, под ними, возникали мысли. То же самое она сама сказала в тот незабываемый день, когда они впервые разделись на том же самом диване. Нетерпеливо, дрожащими руками она сняла летнее платье, а затем и все остальное. Глаза ее затуманились от страсти, и она не обратила внимания на его нерешительность. Она бормотала слова, которые, как ей раньше казалось, никогда бы не осмелилась произнести вслух, и гладила его столь же бесстыдно... я просто умираю, так я хочу любви, и особенно хочу твоего вот этого... понимаешь меня... я просто умираю, так я тебя хочу... и вдруг заметила его мрачный взгляд. Не бойся, я не девственница, прошептала она, решив, что поняла причину его нерешительности. У меня уже это было и раньше, понимаешь меня? Иди ко мне, душа моя, выдохнула она чуть ли не со стоном, раскрываясь еще откровеннее, даже с каким-то ожесточением и слепой яростью, вынудив его отвернуться с виноватым видом. У него ничего не получалось, он уже больше не пытался это скрывать, и даже, запинаясь, признался, что такое с ним впервые. С другими такого никогда не было.

Она попыталась унять раздражение, которое неожиданно возникло у нее, когда она услышала слово «другие». Она зна-

ла, что неправа, что нельзя вести себя по-детски, и все же, в том нервном состоянии, в котором она находилась, не смогла удержаться от вспышки гнева: значит, с другими у него все было отлично, а с ней ничего не получается. Нет, ты только посмотри! Подбирая точные слова, он попытался объяснить, что все было не так, как она думала. Что, не только все было не так, но все было совершенно наоборот, и что слабость эта была вызвана чрезмерным желанием.

Она хотела перебить его: с этим она уже была хорошо знакома. На танцах в гимназии одноклассники, пылавшие жаром, прижимаясь к девчонкам, когда доходила очередь танцевать с ней, словно по волшебству вдруг застывали. Щеки у них пламенили, руки дрожали, но не от возжеления, как ей сначала казалось, а совсем по противоположной причине. И об этом наглядно свидетельствовала их прятавшаяся в брюках плоть, становившаяся жалкой, словно мокрая курица. Вместо того чтобы окаменеть, прижавшись к ее животу, она избегала прикасаться к ней, чтобы воспрянуть буквально через несколько мгновений, с другими девушками.

Примерно то же самое и он пытался ей объяснить, хотя и довольно сумбурно. Дочь руководителя одновременно вызывала влечение, уважение и страх, но именно последние доминировали. А у него, по сравнению с другими, было еще больше причин для этого - из-за происхождения его семьи. Обрывочные фразы, которые она выслушала еще раз, были о его отце. Сейсмолог, учеба в Вене в период королевства, опасения, от которых все это время не могла избавиться его семья.

С ироничным блеском в глазах она выслушивала все эти сбивчивые объяснения, а про себя, беззвучно рыдая, повторяла: ну за что же мне все это... Она чувствовала, что слепой гнев никак не мог улетучиться, и холодно произнесла горькую фразу, о которой тут же пожалела: настолько сильно вас обуял ужас перед диктатурой?

Юноша прикусил губу. Она хотела смягчить свои слова, добавив со смешком: неужели мы все такие страшные, мой отец, я?...

Безнадежное отчаяние в его глазах дошло до предела. Она взяла его руку, поцеловала ее, провела ею по своей груди, потом опустила вниз, к лобку. Освободившись от стыда, она почувствовала, что все становится намного легче. Не отводи глаз, сказала она ему нежно. Она кажется тебе черной, угрожающей? Страшнее и чернее диктатуры пролетариата? Ну скажи, скажи, душа моя!

Он ей не отвечал. Обнаженная, как была, Сузана встала и подошла к окну. Какое-то время смотрела на опустевший песчаный пляж. Море было серым, холодным. Вдали на берегу виднелся женский силуэт. Если бы она не знала, что это ее мать, ни за что бы не смогла ее узнать. Из-за накинутой на плечи шали походка ее казалась беспокойной. Сузана показалось, что она иронично ухмыляется. Она попыталась вообразить, каким образом мать представляла себе изнуряющий ее любовный жар. Бедная матушка, если бы она только знала, вздохнула девушка про себя. Месяц назад, когда она заговорила с ней о парне, с которым только что познакомилась, впервые в жизни мать продемонстрировала понимание. В ту исповедь Сузана вложила всю свою страсть. Она рассказывала о таких вещах, о которых никогда раньше не осмеливалась упоминать. Откровенными, бесстыдными словами она рассказала ей о пытке, от которой страдало ее тело. С того времени, как она разлучилась... то есть их разлучили... с ее первым возлюбленным, она пережила адские муки. Речь шла не о душевных мучениях, которые ее матери могли показаться ненужной роскошью, а о тех, других, в которых мало кто осмеливался признаться: страданиях плоти. Она не испытывала стыда, рассказывая об этом своему самому близкому человеку. После двух лет регулярных половых отношений, ее тело вдруг самым жестоким образом

оказалось оторвано от всего этого. Она подчинилась требованию отца, высшим интересам, связанным с его карьерой. Склонила голову покорно, словно ягненок, отказавшись от наивысшего наслаждения, какое только можно найти в этом мире. И все же это не могло продолжаться бесконечно. Она познакомилась, наконец, с юношей, который ей понравился. Естественно, у них все было серьезно, и они собирались обручиться, но ей нужно было с ним встречаться, узнать его поближе. Однако, принимая во внимание обстоятельства, это казалось просто невозможным: охрана, дом в закрытом квартале, сотрудники «Сигурими», сопровождавшие ее во всех передвижениях по городу. От всего этого ужаса ее могла спасти только она, ее мать. Могла помочь встретится им несколько раз тайком, в пляжном домике, когда сезон закончится и вокруг никого уже не будет... К ее несказанному удивлению, мать не стала возражать.

Сузана продолжала следить взглядом за беспокойно ходившей вдалеке женщиной, и в третий уже раз вздохнула: бедная мамочка!

Особой походкой, легкую фривольность которой придала освобожденная от стыдливости нагота, Сузана подошла обратно к своему любимому. Мрачный, он застывшим взглядом уставился на пламя в очаге.

Девушка беззаботно уселась ему на колени. Расскажи мне об этих «других», совершенно спокойно, тихим голосом попросила она. Сначала расскажи ты, а потом расскажу я! Он коротко ответил: не хочу! Она гладила его по голове, нежно обвивала рукой шею, но он мягко отвел ее руку. Ты ошибаешься, сказал он, я нисколько этого не стыжусь... и даже... Что «даже», подначивала она его она... Я даже удивился бы, если бы все прошло нормально. От вас всех исходит такой ужас... Что? переспросила девушка, но он поспешил ответить: ничего, ничего, забудь мои слова... Посреди ледяного молчания теперь уже он гладил ее мягкие волосы, шепча ей на ухо: ну хорошо, я тебе

расскажу! И она, так и застыв в неудобной позе, с трудом сохраняя равновесие, выслушала сначала больничную историю о том, как он лежал с переломом ноги, и как медсестра, чуть старше его по возрасту, пришла ночью к нему на койку, а затем, об однокурснице, и еще об одном приключении в молодежном строительном отряде на севере.

То есть, ни с одной из них у тебя не было никаких проблем, проговорила она после некоторого молчания. Проблемы ты приберег для меня, а? Он мотнул головой, как делают, когда перед тем, как начать спорить, коротко говорят «нет». Слепая обида, все нарастая, перекатывалась от одного к другому. Ну как ты не понимаешь, что ты совсем не такая, проговорил он. Ты другая, понимаешь, совершенно другая. Она не знала, как ей понимать эти слова. То они казались ей комплиментом, то оскорблением. И когда он потребовал, чтобы она рассказала ему свою собственную единственную историю, по той страсти, с которой она начала рассказывать, девушка поняла, что в ней все еще живет желание отомстить ему. В другой раз она все рассказала бы более хладнокровно, но в этот день, в том нервном возбуждении, в котором она находилась, она с болезненной страстью припоминала все подробности, совершенно не думая о том, что может причинить этим боль другому. Ты сказал, что я «другая»? Другим, в полном смысле этого слова, был как раз он. Он не испытывал ни восхищения, ни страха. Можно было бы заподозрить в нем скрытого противника режима. Но даже и это вряд ли. Он был просто равнодушным. Равнодушным и властным. Она отдалась ему, как принято говорить, уже на первом свидании. Ей только что исполнилось семнадцать лет. Кто-нибудь другой, заметив типичные следы после лишения девственности, если бы и не испугался, то по крайней мере испытал бы какое-то волнение. Он вообще ничего не сказал по этому поводу. И она в это мгновение поняла, что он именно тот человек, которого она так страстно ждала. И влюбилась в него

просто до безумия, как говорится. Он, возможно, тоже. Но он почти никогда не говорил ей нежных слов любви. Каждый раз когда он овладевал ею, ей казалось, что его охватывает, несмотря на всю его страсть, какая-то тайная печаль, словно он пытался найти в ее лоне что-то совсем другое. От него она переняла привычку скрывать свои чувства за молчанием. И когда однажды он неожиданно объявил ей, что обручен, она, вместо того, чтобы прийти в ужас, потребовать объяснений, разразиться рыданиями, обвинять его, просто опустила голову, не произнеся ни слова. И так их отношения продолжались еще довольно долго, до того самого дня, когда их связь была раскрыта. Это было как раз в то время, когда отца публично назначили Преемником. Более того, причиной разоблачения, похоже, и стало как раз то, что в карьере отца впереди вдруг зазвучала новая звезда. Ледяными рублеными фразами, не обвиняя ее ни в чем, но и не допуская ни малейшей возможности слушания, мать потребовала немедленного разрыва этих отношений. Твой отец избран будущим Вождем. И ты это сделаешь ради него! Иначе нам придется посадить этого человека со всей его родней.

Сузана смотрела на нее широко раскрытыми от изумления глазами. Посадить человека, который сделал ее счастливой? Да вы все сошли с ума, выкрикнула она. Это ты сошла с ума, если не понимаешь простых вещей, возразила мать. И продолжала ее отчитывать: мало того, что ты связалась с этим блудливым мерзавцем, но еще и осмеливаешься его защищать! Он не мерзавец, ответила девушка. Она хотела добавить, что он — мужчина, сделавший ее женщиной, но в то же мгновение ясно осознала, что если они будут продолжать ругаться с матерью даже тысячу лет, они не смогут понять друг друга никогда.

Через два дня ее позвал к себе отец. Стекла огромных окон его кабинета, казалось, мелко дрожали от бившегося в них ветра. Сузана стало холодно. Она знала, что из всех кипевших вну-

три нее слов она не сможет произнести ни одного. Что мог знать отец о ее теле? Разве могла она рассказать ему, как ее грудь и бедра жаждут прикосновений, как в ее лоне сладость и страдание сплавляются в смертельной схватке? Чтобы смогла отречься от своей любви она, - она, с нетерпением считавшая дни, часы и минуты, когда приближался желанный миг? Она и сама изумлялась, как после неземной близости, во время которой она таяла как расплавившаяся свеча, тело ее все еще сохраняло свою форму? У них в жизни были свои опьяняющие мгновения. У них были съезды, знамена, гимны, могилы павших героев, а у нее было только одно... ее собственное тело... бесконечное как вселенная...

Отец смотрел на нее своими светлыми глазами, холод которых, как ни странно, в тот день казался вполне переносимым. Она чувствовала, что и у нее самой точно такой же взгляд — чужой, отстраненный.

Какое-то время, довольно долго, он молчал. Затем, когда он начал говорить, уже в самое первое мгновение она почувствовала, что не только его голос, но и слова, подбор их, темп речи и все остальное были совершенно другими. С этого момента и уже навсегда он, ее отец, стал совсем не тем, что раньше. Что значит быть преемником, не дано понять никому, только тому, кто им уже стал... Он не хотел долго обо всем этом распространяться, но кое-что хотел ей объяснить: многие думают, что теперь он силен как никогда раньше. Это только половина истины. Вторую половину он скажет только ей: с этого момента и уже навсегда он стал намного сильнее и, одновременно, намного уязвимее чем когда бы то ни было... Надеюсь, ты понимаешь меня, девочка моя!

Сузана слушала его с опущенной головой. Словно беззвучная ослепительная молния в одно мгновение высветила то, на осознание чего ей могли бы понадобиться дни, а может быть, даже недели. Почувствовав, что не в силах больше сдерживать

слез, она подняла глаза и кивнула, соглашаясь. Размытый, словно скрытый завесой тумана, он остался стоять, а она повернулась, чтобы уйти. Уже подойдя к двери, она разрыдалась, и когда шла по лестнице в свою комнату, слезы, казалось, лились у нее ручьем.

Так закончилась ее единственная любовная история. Во время последнего объяснения со своим любимым она постаралась быть как можно более краткой. Она не упомянула ни о том, что его могут посадить, ни о своей ссоре с матерью. И все же, после любовных ласк, не успев еще даже прийти в себя, она призналась, что ее приносят в жертву ради карьеры отца. Он выслушал ее нахмурившись, совершенно не понимая, что она этим хочет сказать. Потом, когда она повторила, он вроде бы что-то понял. Он ничего не ответил, и только потом, после длительного молчания, проговорил, что все эти истории с жертвоприношениями - это что-то из древности, и он полагал, что такого уже не бывает.

Это были последние слова, которыми они обменялись.

Вот так все и произошло... Все то время, пока она говорила, жених не сводил с нее застывшего взгляда. Переживаешь, душа моя? спросила она, обнимая его за шею. Не стоит, не переживай, теперь это уже давняя история... К ее удивлению, тот не выглядел огорченным. Пока она рассказывала, что-то изменилось. Она так и не поняла, какая именно подробность ее исповеди возбудила жениха, но внезапно, наклонившись к ее уху, он перебил ее, прошептав: покажешь мне снова эту твою черную тайну?...

Разгоряченная страстью, она обнажилась вновь, с трудом, словно в лихорадке, и руки ее дрожали. Душа моя, душа моя, бормотала она, в то время как он в первый раз провел рукой вниз по ее животу. Ее вскрики сменились сдавленным стоном, чтобы вновь повториться через некоторое время и вновь закончиться всхлипом. Когда юноша отстранился от нее, она не-

которое время лежала неподвижно с полузакрытыми глазами. Щеки ее были мокры от слез. Как ты прекрасна, прошептал он, и она, не открывая глаз, ответила ему: это ты сделал меня прекрасной!

Утомленная, она неторопливо покрывала его тело поцелуями и называла ласковыми словами. А давай займемся этим еще разок? Будем заниматься этим по вечерам, и днем, и на рассвете, верно ведь? Ну конечно, ответил он, пытаюсь, словно слепой, нашарить рукой пачку сигарет.

3

Завернувшись в одеяло, совершенно изможденная Сузана попыталась заснуть. Еще никогда воспоминания так не утомляли ее. Щеки у нее были мокрыми, как тогда. Промежность тоже.

За окном уже ощущалось приближение рассвета. Этот ужас, похоже, рассеивался. Все эти аутопсии, следователи в белых халатах, инструменты, измерения, приведут в конце концов, хоть к чему-нибудь. Бедный папа, он будет вознагражден с таким опозданием! Ну, по крайней мере, его душа успокоится. Они - мама, брат, она, Генци — продолжают жить дальше. Без него, конечно, без его высокого, но такого опасного положения, им придется, опустив головы, закрыться в своем панцире, согревая друг друга.

Так сказала им тетка Мемея, единственная посетительница в эти одинокие дни после случившегося несчастья: соберитесь все вместе, согревайте друг друга!

Она появилась еще до рассвета, приехав с дальнего юга на поезде, словно специально для нее появившемся в расписа-

нии, с белыми крупинками не то инея, не то снега, выпавшего неизвестно с какого неба, на черном платке.

Со страхом и удивлением смотрела Сузана на незнакомую старуху, долго стучавшую в дверь.

Я тетка Мемея, приехала на вас поглядеть, воскликнула та громким голосом.

Сузана крикнула с самого низа лестницы: мама, приехала тетя Мемея!

Она думала, мать будет рада, что наконец-то, после долгого забвения, кто-то постучал в дверь их дома. Но глаза матери, тусклые не столько от сна, сколько от бессонницы, равнодушно разглядывали гостью, словно не могли ее узнать.

Вы меня не помните, понятное дело, но я на вас не в обиде, сказала старуха. Когда Господь все не забирал меня, я и сама спрашивала: для какой беды он меня приберегает?

На своем архаичном диалекте, половину которого Сузана просто не понимала, старуха раздавала указания. Большинство из них начинались со слова «не». Не открывайте никому двери! Не вспоминайте ничего, даже снов! Не ломайте себе голову, чья рука нанесла удар бедолаге. За каждой рукой прячется другая рука, а за следующей всегда рука Бога. И ты, дочка, обратилась она к Сузана, не думай, что это случилось из-за тебя! А ты, хоть ты и сын, обратилась она к брату, даже и не думай о кровной мести! Надо быть как можно дальше от всего этого! И особенно ты, вдовая женщина, горемыка из горемык, не думай больше ни о чем! Что было, того уж не миновать, а что миновало, того уж больше не будет! Забудьте, чтобы и о вас забыли!

Пока старуха говорила, мать следила за ней все тем же застывшим взглядом, в котором время от времени мелькал страх.

Сузана смутно что-то припоминала — какие-то ностальгические воспоминания о дальней родне, давно позабытой в затерянных деревнях, о родственниках, которые, как укоры сове-

сти, вдруг неожиданно появлялись, а потом так же внезапно исчезали.

Тетка Мемея исчезать не торопилась. Она продолжала раздавать указания, начинавшиеся со слова «не», похоже, весьма довольная тем, что внук не только внимательно ее слушал, но даже, после того, как они выпили кофе, отвел старуху в сторонку, чтобы о чем-то с ней пошептаться с глазу на глаз.

Забудьте, чтобы и о вас забыли, повторила Сузана про себя слова старухи. Легко сказать, пусть даже и о снах. Теперь половина ее жизни, если не сказать, что большая ее часть, как раз и состояла из воспоминаний и снов.

Был еще апрель, но к его границе уже приближался, неизбежный, громогласный, с первым его днем, обожаемым и обожествленным, месяц май.

Ей даже никогда не могло прийти в голову, что самый мучительный день ее жизни будет наполнен движением масс, грохотом барабанов, красными флажками и громкоговорителями, из которых гремела праздничная музыка. Портреты ее отца, более многочисленные чем когда бы то ни было раньше, то тут то там плыли следом за портретами Вождя.

С трибуны она застывшим взглядом следила за бесконечными волнами демонстрантов. У нее кружилась голова, словно в кошмаре. У нее щемило сердце, когда она представляла себе того, кто, возможно, все еще ждал ее в квартире на улице Сосен. Вспоминал ли он то, что она сказала ему? Если до половины девятого я не приду, это будет означать, что мы больше никогда с тобой не увидимся! Я буду любить тебя всю свою жизнь! И если бы даны были две жизни, то я любила бы тебя в обеих!

Время от времени, краешком глаза она смотрела на центральную трибуну, туда, где ее отец, стоя справа от Вождя, жестом приветствовал толпы под вспышки фотоаппаратов. Спустя несколько мгновений, словно для того, чтобы убедиться, что

ничего не изменилось, она снова осторожно повернула голову и сама не знала, радоваться ей или печалиться, что все было по-прежнему, и что отец как всегда был на своем месте, на два шага впереди всех, рядом с Вождем. Время от времени утомленное сознание вдруг обманывало ее спутанными видениями: ее отец, который отступал вдруг на два шага назад, и она пыталась пробиться сквозь толпу приглашенных: боже мой, отец, тебя разве не выбрали Преемником? Ты все это придумал, чтобы обмануть меня? Если это правда, так отпусти меня на свободу, господин, отец мой, чтобы я могла пойти к любимому, раздеться и растаять в его объятиях!

Праздничный семейный обед был не менее мучительным. Сверкающий стол, пожелания «все выше и выше», которые отец делал вид, что не слышал, улыбаясь своей несколько отстраненной улыбкой, ни к кому конкретно не относившейся, - от всего этого она просто оцепенела. В ее сознании хаотично плавали обрывки образов и слов, по большей части не связанных друг с другом.

Чем дальше, тем все больше этот сверкающий позолотой обеденный стол напоминал ей алтарь, на который ее должны были уложить, чтобы принести в жертву при свете канделябров. Глаза ее время от времени натыкались на взгляд матери. Отец мой и господин, пусть это хотя бы пойдет тебе на пользу! Ей казалось, что она повторяла это каждый раз, когда видела лицо отца, похожего на смущенного от счастья жениха. Он избавился от жениха своей дочери, чтобы самому стать женихом на этом кошмарном обеде.

Вечер Первого Мая, вопреки прогнозам, был ветреным и дождливым. Запершись в своей комнате, Сузана рыдала не переставая.

На той самой кровати, на которой она спала и теперь проснулась, не понимая, какое сейчас время суток.

Наконец она встала. Глаза у нее опухли, но первая мысль, обычно приходившая ей в голову последнее время по утрам, а для чего мне быть красивой, в этот раз не появилась.

В доме было тихо. Просто не верилось, что всего несколько часов назад люди с инструментами и оружием ходили взад и вперед по комнатам. Брат уже ушел, как обычно. Мама, похоже, тоже. Она подошла, как делала уже десятки раз, к двери комнаты отца и подергала ручку. Дверь, как и всегда, была заперта.

Она вновь вернулась к зеркалу, откинула волосы, исследовала прыщик, перед тем как взяться за расческу. Ей казалось, что она позабыла, как правильно причесываться, так, чтобы это соответствовало хоть каким-то представлениям о красоте.

Дверь в комнату брата была приоткрыта. С порога она бросила взгляд на его стол, на котором было беспорядочно разбросано множество книг. В этой комнате, в которую никто не осмеливался заходить, брат надолго запирался с тетушкой Мемеей.

Она видела, как потом они спускались по ступенькам и бродили вдвоем по дому, выходя и возвращаясь через маленькую дверь в сад, он, склонившийся над ней, и она, вся в черном, сгорбленная, прикрытая длинной рукой юноши, словно прятавшего от мира свою тайную печаль.

Тетушка Мемеея уехала вечером того же дня, но ее тень и ее слова остались в доме. Брат даже и не скрывал, что ему было страшно любопытно узнать ее мнение о некоторых темных тайнах их рода. К примеру, о проклятии, о котором говорила вся Тирана. Какая его часть была связана с домом, а какая с се-

мьей? О расположении дверей, порогов. О первоначальном источнике зла.

Именно это волновало их обоих — и брата, и сестру. Если действительно существовало проклятие, то в какой части дома оно пряталось, в старой или в новой? Другими словами, в каком из двух проектов?

Когда они разговаривали, у Сузаны не выходило из памяти лицо архитектора. Она была почти уверена, что проклятие имело отношение к пристроенной части. Еще в детстве они слышали, что до того, как его национализировала народная власть, дом принадлежал пианисту, который сыграл первый вальс для короля и королевы, в день их свадьбы. Так что, даже если руки пианиста и были в крови, эта кровь не имела к ним никакого отношения.

Брат с горечью усмехнулся. Он не знал, что думали предки о тех случаях, когда дом менял хозяина. Тетушка Мемея тоже высказывалась по этому поводу крайне туманно. Эти времена уже не для меня, старухи, говорила она. У нас были другие поверия: проклятие, порча, а сейчас совсем другие, в которых я ничего даже и не понимаю! Теперь съезды, пленумы там всякие, и чего только нет! Ой-ой-ой!

Когда Сузана сказала, что новая часть дома еще не имеет никакой истории, поскольку с тех пор, как едва успела высохнуть штукатурка, в ней не происходило ровным ничем, кроме церемонии ее обручения, брат отрицательно покачал головой. Он считал, что преступления следуют за совершившими их людьми, пока не найдут стены, в которые смогут упереться. И даже если внутри этих стен не было еще совершено никаких преступлений, они были совершены где-то в другом месте. В горах, например, во время последней войны. Ее называли освободительной войной, но были и такие, кто говорил, что скорее это была гражданская война. Другими словами, кровавая и смертельная резня.

Ты думаешь, отец совершал преступления? спросила девушка еле слышно.

Он не услышал ее или сделал вид, что не услышал.

От его ледяных слов холод бежал по спине. Сорванная когда-то чужая свадьба внезапно потребовала расплаты, проснувшись от шума новой свадьбы. Сколько было их таких, растоптанных так называемой классово-борьбой!

Ты сумасшедший, воскликнула она. Сумасшедший и злой!

Он ответил, что он не сумасшедший и не злой. И когда Сузана сквозь слезы сказала ему, что не выносит, когда во всем виноват ее саму и ее свадьбу, он обнял ее и долго гладил по волосам.

Дай мне еще немного поплакать, попросила его девушка, когда он настойчиво пытался ее утешить.

Растрепанные седые волосы матери в то смертельное утро, когда она голосила по всему дому, обращаясь к покойному, чье тело еще не успело остыть: «Горе-то какое, как же ты подвел партию!», стояли у нее перед глазами дни напролет. Она жалеет партию, и больше никого, пробормотал ей на ухо брат. Ни себя, ни нас!

Позже, когда они вспоминали это зрелище, он сказал ей, что им бессмысленно пытаться постичь тайну связи их родителей с партией. Она была сильнее любых родственных связей, не говоря уже о супружеских!

В горах, повторяла она про себя его слова. Там должны были происходить ужасные вещи. И эта странная связь, она наверняка родом оттуда.

Похоже, что это была связь совершенно нового и ранее неизвестного типа. В отличие от связей, существующих внутри сект, она в чем-то была схожа с родственными связями, поскольку основой ее тоже была кровь, но с одним отличием: не та внутренняя кровь, которая текла в жилах рода, неизменная в течение тысячелетия, как уверяет генетика, но другая кровь,

внешняя. Другими словами, чужая кровь, которую они пролили словно в опьянении, во имя своей доктрины.

Каждый раз, когда доходило до таких разговоров, она закрывала ему рот рукой. Прошу тебя, не говори об этом, даже не думай об этом! А про себя, помимо собственной воли, повторяла: внутренняя кровь, внешняя кровь!

Скрип большой двери заставил ее повернуть голову. Это был он. Тирана просто бурлит слухами, проговорил он, едва переводя дыхание. Отца, судя по всему, реабилитируют.

Погоди, Расскажи все по порядку, попросила девушка.

Они уселись в небольшой гостиной и закурили. Повсюду перешептываются, что аутопсию проводили не просто так. Более того, называют даже имена тех, кто понесет за это ответственность. И среди них первый — Адриан Хасобеу!

Отличные новости, воскликнула Сузана и обняла его. И тут вспомнила, что после того, как ласкала свою грудь сегодня утром, она не застегнула рубашку.

Он закурил еще одну сигарету и лихорадочно ее выкурил, словно пытаясь отдышаться. Застывшим взглядом он уставился в одну точку.

Что с тобой, мягко спросила она. Ты вроде собирался что-то рассказать, и вдруг впал в задумчивость!

Он смущенно улыбнулся.

Нет, ничего. Одно только хочу сказать: теперь нам нужно быть наготове!

Быть наготове — к чему?

Помнишь последний совет тетки Мемеи? Будьте готовы, и заранее продумайте, что нужно говорить.

Продумать, что говорить... Ты имеешь в виду ночь 13 декабря?

Все что знали, мы уже сказали.

Старуха имела в виду не следователей.

А кого?

Он глубоко вздохнул в задумчивости.

Отца! Подумайте, что вы ему скажете, когда он появится перед вами! Вот что она имела в виду.

Зачем ты нагоняешь на меня ужас? С беспокойством проговорила девушка.

Тебе бояться нечего! Мысль у старухи работает точно так же, как и две тысячи лет назад. Встреча с умершим, как они считают, неизбежна. Неважно где, в снах, в потустороннем мире, в собственном сознании.

Я видела его два раза во сне, но не разговаривала с ним.

Когда-нибудь поговоришь! Все мы: ты, я, мама, должны подумать, что нужно говорить.

Стараясь, чтобы его слова не звучали слишком мрачно, он рассказал о пустынной равнине, которая, по представлениям древних, отделяла этот мир от мира смерти. Толпы покойников, тысячи, словно на современных вокзалах или в аэропортах, ждали прибытия родных. Часть ожидающих с нетерпением ждала, когда же они смогут обняться после долгого расставания, но были и те, кто, с глазами, потемневшими от гнева, показывали свои раны и требовали объяснений. Они раскрывали свои раны, а вместе с ними и трактаты, евангелия, официальные приговоры, кануны, акты вскрытия, древние псалмы.

Сузана нервно потеряла руки. Братишка, хватит с меня этих потусторонних ужасов! Тебе что, реальных не хватает?

Но он покачал головой, не соглашаясь. Однажды они окажутся перед ним, и нужно знать, что говорить. Ты первая, обратился он к ней, самая невинная из нас всех! Самая чистая. Самая растоптанная. Если он осмелится...

Не смей, воскликнула она. Не хочу больше слушать! Я его простила.

Верю, перебил он. Твоя встреча с ним, возможно, будет всего лишь скорбным объятием. Может быть, вообще без слов. А вот объяснение с матерью, оно таким простым не будет.

Девушка опустила глаза.

Ты, супруга моя, три месяца кряду не смыкавшая глаз от бессонницы, почему ты уснула свинцовым сном именно ночью 13 декабря? Вот об этом он обязательно спросит. И я с трудом могу представить, что она ответит. Каким снотворным можно оправдать такой сон? Каким рецептом врача?

Некоторое время они сидели молча. А когда он, понизив голос, словно боясь ее побеспокоить, принялся говорить: а мне, наверное, будет еще тяжелее, она от изумления вытаращила глаза.

Не бойся, проговорил юноша. Это не то, о чем ты могла подумать. Мне будет труднее по другой причине.

Говоря, он кусал кончики пальцев. Сузана с трудом понимала, что он пытается ей рассказать. Это было нелегко, потому что и в самом деле тяжело, когда отец показывает своему сыну раны, окровавленную рубашку, а сын, вместо того, чтобы, как положено, поклясться на этой крови выполнить священный долг кровной мести, говорит совершенно другое. Не трясись тут передо мной своей рубахой! Ты мой отец, и я тебе не судья, что бы ты ни сделал, но знай, что становиться кровником я не собираюсь!

Братишка, подумала она, ну зачем ты истязашь себя этими ужасными древними суевериями?

Бледный, он говорил сбивчиво, словно сам с собой, и объяснил, что, даже если бы у него и была такая возможность, он никогда не стал бы мстить. Как он уже говорил как-то, пролита была другая кровь, с другой стороны и другой группы. Так же, как и грудь матери была совершенно другой. И их отец, и их мать, и кровь одного и молоко другой текли по совершенно другим законам. На праздниках, в песнях, они повсюду провозглашали: «свет партии!», «партия-мать!», а скоро будут кричать «молоко, груди, влагалище партии!». На самом деле, так уж повелось изначально, еще в самых первых коммунистических

группах, когда соратники, мужчины и женщины, спали или не спали друг с другом не по семейному кодексу, а по партийным заветам.

Говоря это, он нервничал все больше и больше, но она никак не могла уловить момент, чтобы его успокоить.

Вот так и началась вся эта история, о которой они не хотели больше помнить. Они позабыли все это после того, как взяли власть, когда у них появилось собственное потомство.

Он горько усмехнулся.

У них появились мы, но знаешь что, это все временно. В час испытаний они готовы растоптать нас во имя партии. Так, как растоптали тебя. Так, как поступили бы и со мной, если бы того потребовали интересы партии.

Сузана наконец удалось его перебить. Да что ты такое говоришь, братишка дорогой, хватит уже!

Дай мне закончить, холодно проговорили он. Это не пустая болтовня, то что я говорю. Мой отец вот здесь, в этой комнате, мне угрожал: ты мой сын, но знай, что если ты предашь партию, я собственными руками надену на тебя наручники! И по его глазам я понял, что так он и сделает. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Он бы сделал то же самое, что сделал Авраам три тысячи лет назад, когда Бог велел принести ему в жертву своего сына.

Сузана закрыла лицо руками. Уже зная, как нужно себя вести во время кошмара, она просто ждала, когда бормотание брата прекратится. Но он вновь и вновь возвращался все к тому же: к новой генетике, вынуждавшей сына предавать отца, отца — сына, жену — мужа. Поэтому они и не понимают ничего из происходящего. Поэтому и не догадаются никогда, что же случилось, пока они все спали как убитые той ночью 13 декабря.

Сузана в конце концов встала и пошла в ванную. Плеснула несколько раз в лицо холодной водой. Как ни странно, но все ужасы, о которых рассказывал ей в последнее время брат, уле-

тучились так же быстро, как и ночные кошмары улечувачаюцца на рашсвечеч.

В свочеч комнате она долго стояла перед зеркалам. Печально перебирала свочеч туалечтные принадлежнечтеч. Губная помада, похоже, высухла от долгого неупотребления. Она ееч слечка намочила перед тем, как попробовать на губах. Цвет ей показался странным, каким-то игриво-лукавым. Если бы рядом вдруг оказался брат, кто знает, каких ужасов бы он ей наговорил по этому поводу!

Братик дорогой, давай подумаем о другом, пробормотала она. И тетка Мечечя, эта черная кликуша, если придет с добром, то пусть приходит, а иначе пусть никогда даже не переступает нашего порога!

Давай о другом подумаем, повторила она. Может быть, вернется обычная жизнь. Та, что с нормальной генетикой, как сказал бы брат. Вслед за отцом и все остальные, его товарищи, один за другим, наверно, покинут этот мир. Поколение в полном составе, как оно спустилось с гор, со свернутыми, как рассказывали, одеялами на плечах, со смертельно опасными тайнами, снова растает в тумане.

Ушли бы они, о Боже, дали бы просто жить нормальной жизнью! Пока не придет время встретиться с ними на той равнине, где они долго дожидались бы нас.

Она представила себя посреди пустынного пространства, ждущей, когда к ней издали подойдет человек, у которого все тело покрыто ранами.

После грустных объятий, мучительных объятий, когда отец будет, возможно, избегать ееч губной помады, а она пятен крови на его рубашке, что сможет она рассказать ему после долгой разлуки?

Ей казалось, что она с трудом подбирает подходящие слова, но тут же их забывает.

Она почувствовала, что устала. Это было, похоже, весеннее возбуждение и предчувствие скупого счастья, отчего она почувствовала слабость во всех членах.

Ноги сами привели ее к кровати. Перед тем, как погрузиться в дремоту, она попыталась еще раз, хотя уже и не очень настойчиво, подобрать слова, которые она могла бы сказать отцу, на печальном берегу реки. Отец мой и господин, ты меня остерегался, от меня к тебе и пришла беда!

Большая часть дня так и прошла — от зеркала к постели.

Несколько раз, проходя мимо телефона, она поднимала трубку, поскольку почему-то решила, что после долгой изоляции первым должен воскреснуть телефон.

Смеркалось, когда из окна комнаты она увидела брата, который шнырял по саду как оглашенный. Бедолага, мало ему своих собственных проблем, так он носится еще со всякими дурацкими подозрениями! С момента приезда тетки Мемеи, казалось, они обуревали его все сильнее.

Тетка Мемея, подумала она, оцепенев. Если это была действительно она...

Спустившись по лестнице, она подошла к дверце, выходившей в сад, и дождалась, пока подойдет брат, чтобы поделиться с ним своими сомнениями. Он выслушал ее спокойно, более того, вместо того, чтобы сказать: да что тебе еще взбрело в голову, меня обзывала маньяком, а сама, оказывается, еще почище меня, он, понизив голос, проговорил, что у него сомнения возникли еще в тот самый день, но он специально ей ничего не говорил, чтобы не пугать лишний раз.

А чего тут пугаться? спросила Сузана как бы с насмешкой, но почувствовала, что голос у нее пресекался. В самом худшем случае, некая самозваная тетка постучала в их дверь, такое бывает, тем более.... тем более.... в их положении...

Такое бывает, это верно, пробормотал брат. Но у него лично были сильные сомнения. Несколько лет назад, как ему при-

поминается, была получена некая телеграмма с сообщением о смерти, которая болталась по дому при общем безразличии. Отец с матерью, в связи с захватом Чехословакии советскими войсками, весь день ходили по собраниям в большом ажиотаже, так что никто и пальцем не пошевелил, чтобы заняться этой телеграммой. Он помнил довольно смутно, что только что научился читать и ему было любопытно, поскольку он еще никогда раньше не видел похоронных телеграмм, да и никогда в глаза не видел тетку Мемею. Когда она появилась, он вдруг вспомнил черную полоску на телеграмме и короткий текст, в котором, насколько он помнил, сообщалось о ее смерти.

Сузана едва устояла на ногах. Ты хочешь сказать, что к нам заявила покойница? Ты что, окончательно хочешь меня уморить этими твоими ужасами? Отвечай: ты этого добиваешься?

Трусиха, ответил он. Да ты что, испугалась покойницы, что ли? А ты сама кто, как ты думаешь? Мы все, кто, по-твоему? Мы все уже наполовину покойники. Привидения, от которых в испуге шарахаются люди. Вот мы кто!

Нет, нет, возразила девушка, не говори так. Не говори так, братик. Утром ты был полон надежд, как и я, а что теперь случилось?

Он попросил прощения. Ничего не изменилось. Да и никаких плохих новостей не было. Просто нервы не выдерживают.

Глядя ее по голове, он вновь успокаивал ее, вселяя надежду. По всем приметам все было хорошо, как и раньше. И даже возникшая вдруг тетка Мемейя вовсе не была дурным знаком. Будь она хоть сотрудницей «Сигурими» в звании полковника, замаскированной под старуху, хоть привидением, вышедшим из сельской могилы, как ни посмотри, это все лучше, чем эта пустота. Эта глухая пустыня, когда в дверь, словно это дверь склепа, никто не постучит.

Успокоившись, Сузана молча вошла в дом. В коридоре ей показалось, что дверь в комнату матери медленно закрылась.

Создавалось впечатление, что в последнее время, каждый раз, когда мать видела, что брат с сестрой о чем-то шепчутся, она начинала беспокоиться.

В полночь у Сузаны пропал сон. Как у нее уже вошло в привычку в последнее время, она поднялась и стала бродить по дому. За занавесками светила холодная луна. На первом этаже, к ее удивлению, дверь в гостиную была приоткрыта. Она поспешила к ней. И в самом деле, похоже, дверь позабыли закрыть следователи еще утром. Впервые с декабря месяца ее забыли закрыть. А может быть, это было не случайно. Возможно, это было связано с изменением общей атмосферы вокруг.

Она протянула руку к выключателю, но тут же ее отдернула. Вполне вероятно, что снаружи еще продолжали следить за каждым движением в доме. На самом деле электрический свет был и не нужен. В свете луны гостиная казалась укутанной туманом. Глаза у нее наполнились слезами. Здесь все было как во сне, как в ее воображении. С невыносимой четкостью перед ней мелькали обрывки картин — день ее обручения. Рядом с мраморным камином ее жених, пьющий шампанское вместе с двумя приятелями. Spина ее отца в новом костюме, чуть дальше. Кто-то, входящий с охапкой красных цветов в сопровождении радостной толпы. Вспышки фотоаппаратов. Чей-то голос: да где же эта Сузана, и вновь глаза архитектора, плакавшего от умиления. Затем все встают, и хор голосов: «Вождь!», «Пришел Вождь!» и, сразу после того, как он вошел, новая фаза всеобщего ледяного оцепенения, хрустально-прозрачного, и чем глубже становилось воцарившееся молчание, тем сильнее резал глаза электрический свет. Я тебе говорил, что он почти слепой? Сузана отклонила голову в сторону, словно для того, чтобы не слышать шепота брата.

Как бы он ни старался ее скрыть, слепота Вождя проявлялась в каждом его движении. Даже голос, казалось, несколько изменился из-за нее. И вот этим глубоким голосом он восклик-

нул: «Плодитесь и размножайтесь!», а сам пытался нащупать взглядом молодых. Сузана на какое-то мгновение оцепенела, не поняв толком, легче ли ей было бы вынести взгляд затуманенных глаз или напротив, здоровых.

Перед уходом отец и Вождь снова обнялись. Наверняка, они говорили друг другу прочувствованные слова, поскольку никак не могли оторваться друг от друга, и ей даже показалось, что они оба стали слегка покачиваться в такт, совсем незаметно, словно от дуновения невидимого ветерка. Когда они расстались, наконец, разжав свои объятия, Сузана заметила в глазах слепого слезы, и ее мысль о том, что какие бы ни были глаза, а слезы из них текут совершенно одинаковые, прервал тонкий голос ее матери: «не хотите осмотреть дом?».

Стоило только Сузана вспомнить об их неторопливом перемещении в соседнюю гостиную, как сердце ее всякий раз то-скиливо сжималось.

Как и тогда, она пошла туда же. Залитая молочным светом луны гостиная казалась совершенно сказочной. Это самая красивая часть дома, говорили в те дни все родственники, приходившие к ним в гости. А брат, накануне церемонии обручения разглядывавший ее, стоя у порога, в ответ на ее вопрос: красивая, правда? ответил ей: красивая, слишком уж красивая!

Словно ее что-то толкнуло, Сузана поспешила за небольшой группой. Черное, необычайно длинное пальто Вождя некоторым образом скрадывало неуверенность его походки. Сузана слышала высокий режущий голос ее матери, дававшей разъяснения: это вторая гостиная, самая красивая в доме, как все говорят. Зачем, мама, пробормотала про себя девушка. Взгляд ее неожиданно поймал взгляд архитектора. Глаза его были словно два горящих угля, и Сузана удивилась, как черный цвет может дать ощущение горящего взгляда сильнее, чем даже красный. Кроме огня и ужаса, вызванного, без сомнения, надеждой на похвалу или страхом, что его работа не понравится, было в

этом взгляде что-то еще, превосходившее по силе эти два чувства и сплавлявшее их в одно целое.

Голос ее матери, как всегда пронзительный, рвущий пространство, удивительным образом выделялся в общем шуме. Она объясняла, как освещение в этой гостиной включалось и включалось особым способом, впервые использованным в Албании. Мама, не надо, невольно вырвалось у девушки, но Вождь уже остановился как раз возле выключателя с реостатом, на который показывала рукой хозяйка дома. Черное пальто, скрывавшее спотыкающуюся походку, не могло скрыть неуверенность руки. Он подошел к стене с характерным движением тех, кто не ничего не видит, и попытался нащупать выключатель рукой. Вокруг неожиданно воцарилась тишина и, когда рука его повернула реостат, и свет вдруг стал ярче, он громко засмеялся. Он еще прибавил света, пока не дошел до упора, и снова засмеялся: ха-ха-ха, словно нашел забавную игрушку. Все тоже дружно засмеялись вслед за ним, и это продолжалось до того момента, пока он не стал крутить реостат в противоположном направлении. Яркость света постепенно падала, и все вокруг становилось все более темным и холодным, пока многочисленные лампы в люстре не погасли совсем.

Вот этот наступивший мрак, когда погасли все лампочки, который все приглашенные потом вспоминали как забавное происшествие, и заставил ее сердце сжаться. Иногда ей казалось, что именно в это мгновение изменилась их судьба.

Сузана вновь почувствовала изнуряющую усталость и тихонько вышла из гостиной. Этот ужас, похоже, оставался в прошлом. Все это ее внутреннее беспокойство было ничем иным, как признаком того, что он заканчивается. И об этом же свидетельствовали и гостиные, которые были так долго заперты, и вот, наконец, были оставлены открытыми, и многие другие признаки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПАДЕНИЕ

1

Она была почти уверена, что ей вновь снится сон. Дверь была низкой, с каким-то вьющимся растением, уютно дремавшим над притолокой, и она никак не могла понять, зачем она стоит перед этой дверью. Она протянула руку к металлическому молоточку, но не успев до него дотронуться, вдруг услышала, что он принялся стучать. Странно, проговорила она про себя, хотя совершенно не удивилась. Вместо этого ей стало страшно.

Она отступила на шаг назад, но стук, вместо того, чтобы стать тише, только усиливался. Теперь он доносился то изнутри, то откуда-то издалека, то совсем рядом. Какая-то безумная дверь, громко воскликнула Сузана и наконец проснулась. Это был почти тот же самый сон, что и две недели назад, но только в этот раз стук продолжался, более громкий, чем во сне...

Какого черта они так стучат, подумала она со страхом. У них есть ключи, и они могут входить когда захотят, как они всегда это делали.

Ну конечно, они могут входить когда захотят, как всегда. Завернув по бокам подушку, чтобы закрыть уши, Сузана подумала, что может заснуть снова. Стук внезапно оборвался. Теперь вместо него слышны были шаги по лестнице. Среди голосов, ей показалось, она слышит голос матери. Сузана оторвала голову от подушки. Это действительно был ее голос. Только она, похоже, не говорила, а рыдала.

Девушка вскочила на ноги, но не успела она дойти до двери, как та с силой распахнулась. Вопли, казалось, вылетали не изо рта, а из взлохмаченных волос матери, давно уже не крашенных. Вставай, девочка моя, нас отправляют в ссылку! Вставай, горемыка моя!

Оцепеневшая, полураздетая, Сузана наконец поняла главное: в течение двух часов им нужно покинуть дом. Снаружи ждал грузовик, который отвезет их в другое место. Брат, со связкой книг в руках, спускался по лестнице.

Когда Сузана осталась в комнате одна, ей понадобилось какое-то время, чтобы заставить руки слушаться. Затем она поняла, что руки тут ни при чем. Это ее мозг работал с перерывами. То ей казалось, что не стоит брать ничего из множества окружавших ее вещей, то наоборот, она собиралась взять абсолютно все.

Грузовик стоял перед домом, с задней частью кузова придвинутой почти вплотную к дверям. Когда она подошла с первым узлом, в который собрала зимние вещи, она невольно увидела номер машины LU-14 17. Люшня, поняла она, похолодев. Центральная Албания, провинция, печально известная как место ссылки.

Когда она поднималась по лестнице, столкнулась с двумя солдатами, выносившими мебель. Мать тоже суетилась в кори-

доре первого этажа. Брат, не глядя по сторонам, снова спускался вниз. В этот раз вместе с книгами он выносил что-то завернутое в ткань. Возможно, магнитофон. Или пишущую машинку.

Сузана постояла в раздумии перед полками с бельем. Медленно и спокойно она достала хлопчатобумажные трусики, и сразу за ними гигиенические прокладки, привезенные матерью из заграницы. Укладывая их в сумку, попыталась прикинуть, насколько их хватит. То получалось три месяца, то — четыре.

В коридоре она вновь услышала голос матери. Та что-то говорила брату. Наверняка, о книгах.

Перед полкой, на которой у нее хранилось шелковое белье, Сузана вновь на какое-то время застыла. То она протягивала руку, чтобы взять его, то отдергивала ее обратно. Оно было разных цветов и моделей, но в ее сознании делилось на два типа. То, что было связано с тем, «первым», и другое, меньшая часть, связанное с Генци.

Она взяла в руки голубые трусики, те, которые были на ней, когда она лишилась девственности. Похоже, именно о них он произнес те незабываемые слова: мне нравятся шикарные женщины! Она положила их на место, взяла вновь, вместе с другими, затем нервно положила обратно. У нее было ощущение, словно что-то собралось в одну обжигающую точку, ослепительную, непереносимую. Многие годы от нее требовали одного, в разных вариантах: отказаться от любви. И они всегда выходили победителями. Сузана показалось, что она крикнула «нет!», в то время как ее рука, резким движением, словно она грабила кого-то, схватила все что было.

У нее за спиной открылась дверь, и она услышала голос матери: поторопись, девочка моя!

Они всегда выходили победителями, повторяла про себя Сузана, спускаясь по лестнице. Она пыталась обороняться, ока-

зывала какое-то жалкое сопротивление, словно овца, которую ведут на заклание, но, в конце концов, опускала голову. Но теперь хватит, воскликнула она про себя.

Все ее жертвы не пошли никому на пользу. Более того, о них никто даже и не помнил. Кроме ее первого в жизни мужчины. Того, который предсказал ее печальную судьбу.

Сузана почувствовала, что слезы текут у нее по щекам. Холодные, с привкусом земли, как у всех женщин с пыльными руками. Вот такими слезами, похоже, будет теперь она плакать, на краю поля или за каким-нибудь кустом, пока крестьянин с фермы будет натягивать свои штаны.

Поторопись, сказала мать, направляясь к грузовику с портретом в руках. У нас будет еще время поплакать.

Непривычные к такого рода работе, солдаты с трудом поднимали мебель в кузов. После каждого движения, в высоких зеркалах дрожали неверные отражения. Зеркала наверняка еще помнили, как их извлекали из домов старых хозяев, и долгие годы ждали, когда вновь придет их час.

Осторожнее, солдатик, причитала мать, и голос ее становился все пронзительнее. Подложи вниз кусок картона, чтобы не сдвинулось!

Сумасшедшая, подумала Сузана. Крутилась вокруг грузовика, не выпуская из рук огромного портрета. Только сейчас Сузана увидела, что это портрет Вождя. Совсем рехнулась, повторила она про себя.

Брат шел сзади, с кучей вещей в руках. Места больше нет, сказал один из военных. Водитель грузовика и двое в штатском, следившие за погрузкой, поглядывали время от времени на часы. Полицейские стояли в отдалении. На противоположной стороне тротуара собралась небольшая толпа зевак.

Давайте, сами садитесь, сказал водитель, махнув рукой на грузовик. Расчистите им местечко, обратился он к солдатам.

Брат, задрвав длинные ноги, вскарабкался первым. Сузана своих ног не чувствовала. Помогите матери забраться, сказал кто-то. Вытаращив глаза, женщина обводила всех по очереди безумным взглядом, не выпуская из рук портрета. Сын прыгнул вниз, и, вырвав у нее портрет резким движением, подсадил затем ее в кузов. Сузана закрыла глаза руками.

Шум мотора, монотонный, дребезжащий, внезапно заполнил все вокруг, и тогда мать с дочерью, молчавшие до этого, разразились рыданиями. Юноша исподтишка смотрел на них, словно не узнавая.

2

Грузовик еще тащился по равнине Центральной Албании, а в столичных кафе его уже всюю обсуджали.

Волнение, испытываемое при этом людьми, было совершенно особого свойства. Казалось на первый взгляд, что оно возникло только что, буквально вот-вот, но мало-помалу становилось ясно, что было оно ничем иным, как последним содроганием длинной цепи. После неожиданно поразившей всех некоторое время назад глухоты люди вдруг улавливали признаки некоего ощущения, несколько даже уже подзабытого. Смутное вначале, оно, чем дальше, тем больше выходило из тумана, пока не становилось совершенно ясно, что чувство, воспринимавшееся всеми как оцепенение, усталость или сонливость, было ничем иным как чувством освобождения. Слово «заговор», которое в любом другом случае не вызвало бы ничего, кроме ужаса, неожиданно прозвучало как хорошая новость. Стоило только его упомянуть, как все сразу понимали, насколько

ко они устали за эту зиму, не осмеливаясь произнести его вслух.

Ну да, был заговор, измена, как раньше говорили, и тем, кто не имел к нему отношения, было совершенно нечего бояться.

Прекрасно было известно, чем заканчивались кампании, начинавшиеся под совершенно невинными, можно даже сказать, деликатными лозунгами: либерализм в культуре, чужие влияния, за новый стиль руководства культурой. Начиналось все с какого-нибудь собрания в зале Национального Театра, а заканчивалось расстрельным взводом на пустыре в окрестностях Тираны.

А вот теперь говорили совершенно открыто, что речь идет о заговоре. То есть, о государственном перевороте, организованном Преемником с целью свержения Вождя. Подразумевалось, что все это включает преданных сообщников, заговорщиков, тайные коды, оружие, шпионов, связников. Не зря же застрелился Преемник, сам многократно высмеивавший самоубийц. Слово «заговор» звучало действительно успокаивающе. Естественно, для тех, у кого рыльце было не в пушку. Оно словно ножом отсекало виноватых от невиновных. Что отнюдь не всегда происходило в подобных случаях. Раньше никто не мог быть ни в чем уверен. Думаешь, что чист, а на самом деле, сам того не зная, попал под иностранное влияние. Или тебя заразил либеральный дух. Это же дух, черт его дери, он может к тебе прилипнуть в самом неожиданном месте! Ну а тут уж никто к тебе не прицепится и не скажет, к примеру, что заниматься любовью с женщиной определенным не слишком подобающим образом, в декадентском стиле, что это, как говорится, то же самое, что участвовать в антигосударственном заговоре. Нет уж, дудки, бросьте! Декадентские извращения, они и называются декадентскими извращениями, это нехорошо, конечно, более того, это очень плохо, честное слово, это совершенно не

подобает коммунисту, и уж тем более кадровому партийному работнику, но ради бога, оставьте кесарю кесарево, это уж ни в коем случае нельзя назвать заговором!

Последние известия, сообщаемые столице с наступлением вечера, лишь придали убедительности дневным слухам. Могила Преемника была вскрыта в конце дня и его труп, вперемешку с досками от гроба и кусками грязи, был небрежно упакован в огромный пластиковый мешок и увезен неизвестно куда.

По тому, в какой манере сообщалось об этом последнем событии, часть обывателей испытала некое затруднение с разговорной речью. Своего рода онемение языка, хотя и сокращало невольно рассказ, но в то же время, как это ни странно, делало его более точным. Грязный пластиковый мешок, вместивший тело Преемника, похоже, оживлял в памяти отрывки каких-то древних эпических баллад, часть из которых была выкинута из школьных учебников после неоднократных кампаний по очищению их от средневековой мистики.

Спустя два дня, в четырнадцати столичных актовых залах, где коммунисты вновь собрались, чтобы выслушать речь Вождя, вместе с последним зимним заморозком, казалось, спустились с Альп подзабытые уже фольклорные образы. В Желтых Люгах, в их четырнадцать каменных башнях-куллах, собрались агаллары Ютбины.

И опять было такое же замешательство, вызванное приглашениями. И опять тот же магнитофон на маленьком столе, и рядом с ним ваза с цветами. Голос Вождя, усталый, какой-то безразличный, производил впечатление более сильное, чем любой вопль или угроза. Он почти даже и не скрывал, что смерть уже совсем рядом, и потому у него нет времени для пустой болтовни.

Все произошедшее было заговором. Самым крупным в истории Албании. Самым страшным. Под влиянием угроз своих хозяев, Преемник, глава заговора, был вынужден совершить

жест отчаяния: принести в жертву собственную дочь. Сигнал для ослабления классовой борьбы, для изменения линии партии, он, не осмеливаясь подать его каким-то другим способом, решил дать именно так. Таким образом, он отдал собственную дочь в руки классового врага, чтобы подать всем знак.

С остекленевшими от ужаса глазами слушали люди разъяснения Вождя. В истории страны были случаи, когда албанские семьи приносили в жертву своих дочерей во имя интересов Албании. Знаменитая Нора Кельменди отправилась в шатер турецкого главнокомандующего, но не для того, чтобы стать его наложницей, но чтобы принести ему смерть. В то время как Преемник бросил собственную дочь в когти классового врага с прямо противоположной целью.

Эта свадьба должна была принести смерть Албании.

После заключительных слов воцарилась тишина. Монотонный шум магнитофона только оттенял эту все больше углубляющуюся тишину, пока не наступил такой момент, когда показалось, что вот еще немного, и они смогут услышать, как ворочаются мысли в головах друг у друга. Все продолжали сидеть, словно пригвожденные к сиденьям, пока кто-то не подошел на негнущихся ногах к столику и не выключил аппарат.

3

Через неделю все четырнадцать актов залов столицы вновь были переполнены. Были приглашены те же люди, что и в прошлый раз, но у многих создалось впечатление, что помещения были битком набиты. Ощущение, что среди сидящих присутствуют призраки, создалось после прослушивания очередной магнитофонной записи. По очереди воспроизводились признания, данные на следствии, жены, дочери и сына Преем-

ника. Сильнее всех каялась вдова. Сын настаивал, что в отличие от матери, он ничего не знал о предательстве отца, вот разве что некое письмо, которое, он по его просьбе, опустил в почтовый ящик во время своей поездки в Рим, вызвало у него любопытство, а теперь удивление. Дочь не говорила ни о чем, кроме своей злополучной свадьбы. Речь ее, прерываемая рыданиями, была путаной, более того, время от времени создавалось даже впечатление, что речь шла не об одной истории со свадьбой, а о двух, и обе оказались сорваны ради карьеры отца.

Вмешательство следователя, попытавшегося пролить свет на первую из этих историй, только еще больше сгустило туман. Отец совершенно не принуждал ее к замужеству, наоборот, он препятствовал ее первой любви, поскольку она тоже мешала его карьере, но в тот раз совсем по-другому. Твой первый избранник, насколько нам известно, был из семьи коммунистов и работал журналистом на государственном телевидении, разве нет? спросил следователь. Да, так оно и было, подтвердила девушка. То есть, получается, что поскольку юноша был предан социализму, одно это уже было достаточной причиной для твоего отца, чтобы не позволить ему стать членом семьи, продолжал следователь.

Захлебываясь от рыданий, девушка периодически глотала какие-то слова. На повторный вопрос следователя о том, похоже, уже в то время ее отец приберегал свою дочь для политического замужества с самыми низменными целями, девушка, в промежутке между всхлипами, ответила: не знаю!

Дальнейшие признания девушки в том, что ни ее просьбы, ни ее слезы не смягчили сердце отца, можно было отнести как к первой истории, самым грубым образом оборванной, так и к последнему поспешно организованному сватовству, как получается теперь, организованному со злым умыслом.

Какой циник, говорили ветераны, выходя из залов. Ведь он, собственными руками отдавший свою дочь, как отдают скот на заклание, только подумайте, куда бы он мог отдать Албанию! Это просто несказанно повезло нашей стране, что удалось избавиться от такого Преемника.

Рассуждая таким образом, некоторые, самые заслуженные, выражали надежду, что Вождь выберет наконец, достойного Преемника. Были и такие, кто не верил, что прямо сейчас сможет найтись кто-то, в полной мере достойный того, чтобы находиться настолько близко к Вождю. Ну, в лучшем случае, можно было бы назначить временного Преемника, своего рода Предпреемника, если позволительно такое наименование.

В подобном случае, вмешивался кто-нибудь в разговор, всем понятно, что единственным претендентом на освободившееся место может быть только Адриан Хасобеу. И все кивали головами, подтверждая: «естественно!». Разве не шептались уже довольно давно, что он был скрытым противником Преемника? Более того, подозревали даже...

Лица их светлели по мере того, как они приближались к своим домам, так что родные, увидев их, облегченно вздыхали. Тем временем уборщики в актовом зале, распахивая двери и окна, чтобы их проветрить, удивлялись тому специфическому запаху, который там повсюду чувствовался. Это не был запах пота или ног, или кисломолочный запах, характерный для одежды из домотканого сукна, что часто бывало после сожвещаний животноводов-передовиков. Это был другой запах, встречавшийся в последнее время все чаще и чаще, запах людей, испытывавших животный страх.

Адриану Хасобеу было хорошо известно, что его имя сейчас у всех на устах. Но если первое время это лишало его сна, то теперь все было наоборот.

Все изменилось буквально в одно мгновение, короткое, как вспышка молнии, когда Вождь, после длительных раздумий в ту злосчастную для Адриана Хасобеу весну, объявил, в конце концов, Преемника предателем.

Подобного облегчения он еще в жизни своей никогда не испытывал. Судя по тому, как расправились все его члены, по тому, что происходило в его легких, жилах, висках, он понял, что часть его существа была мертва, а теперь, благодаря миру, окутавшему все подобно туману, возвращалось к жизни.

Дома собралась часть его родни. Повсюду царил почти-тительная праздничная тишина. Никто ничего не говорил, только смотрели с умилением на его изможденное лицо. Лишь один из дядьев, самый старший, громко что-то воскликнул, но тут же осекся и разрыдался.

После обеда, когда он сказал «пойду, отдохну немного», они провожали его все теми же сочувственными взглядами и невнятным бормотанием отдохнидорогойотдохнибратец.

Даже из спальни было слышно их приглушенное гудение, оживившееся, похоже, после его ухода. Под это сладкое убаюкивающее бормотание он отдался во власть сна, сладкого как никогда.

Когда он проснулся, то понял, что они все еще там. Они наверняка радовались сильнее, чем он, так же как и печалились сильнее, чем он, в те мартовские дни, когда дом все заметнее пустел. У него не было ни капли обиды по отношению к ним за то, что все они тогда перестали у него появляться. Более того, он сам им говорил: вы лучше не приходите, пока все это не прояснится!

Все это долго не прояснялось. Осложнения начались уже на следующий день после смерти Преемника. Жена первой его спросила: что это за слухи ходят о тебе?

Он не ответил. После длительного молчания жена продолжала: даже если он и в самом деле был там... в доме другого... в полночь... зачем об этом болтать? Кто его видел? В конце концов, почему не запрещают все эти слухи?

Он поднял глаза и горько усмехнулся, но жена не дала ему говорить. Я знаю, ты мне скажешь, что нельзя, мол, запретить слухи, но ты лучше меня знаешь, что это не так.

Он и действительно знал, что это не так. Тем не менее, как ни странно, но эта первая фаза пересудов не так сильно его и беспокоила. В конце концов, он победил соперника-предателя. Даже если он его и убил раньше времени, он всего лишь перестарался, проявил излишнее усердие. А ведь известно, что в таких делах чрезмерное усердие, помимо осуждения, вызывает и скрытое восхищение. Из-за этих подозрений его значимость в чужих глазах лишь выросла. Благодаря им, его повышение казалось всем совершенно естественным. И даже перешептывания о том, что он займет место Преемника, были следствием этой загадочной истории.

Самое скверное началось в марте, когда стало известно об аутопсии. Скальпели и пинцеты, кромсавшие тело покойника, и ему самому причинили бы меньше страданий по сравнению с обрывками пересудов, доносившихся отовсюду. Аутопсия производилась по причине того, что все было поставлено под сомнение. Ее завершение могло все перевернуть с ног на голову. Преобразившийся внезапно в мученика, Преемник мог скинуть в бездонную пропасть своего соперника.

Адриан Хасобеу засыпал и просыпался с одним и тем же вопросом и теми же сомнениями в голове. Почему его никто не защищал? Почему его не защищал Вождь?

А тот притворялся, что не может больше разглядеть его своими слепнувшими глазами. Это было последним преимуществом, предоставляемым наступавшей слепотой. Вновь и вновь перебирая в памяти все детали их последней встречи с Вождем, Адриан Хасобеу никак не мог понять, где он совершил ошибку.

Заседание Политбюро продолжалось бесконечно долго до позднего вечера 13 декабря. Преемник все более скупыми словами отвечал на вопросы. Иногда он медлил с ответом, словно дожидался, пока ему переведут вопрос. Он не поднимал глаз от листков с написанной им самокритикой, на которых что-то помечал время от времени.

Неожиданно Вождь извлек из черного жилетного кармана часы. Он довольно долго на них смотрел, в то время как сидевший рядом секретарь что-то ему прошептал, наверняка сообщил, что показывают стрелки.

Зал застыл в ожидании.

Думаю, что уже поздно, проговорил Вождь. Глаза его были направлены в ту сторону, где сидел Преемник. Думаю, что твою самокритику мы выслушаем завтра.

Среди все более углублявшейся тишины, большинству присутствовавших, тем, кто был на похожем заседании многие годы назад, наверняка невольно вспомнилась та же фраза, произнесенная, более или менее примерно в то же время суток: уже поздно, твой доклад с самокритикой, товарищ Жбира, я думаю, мы выслушаем завтра. На бледном лице Кано Жбири не шевельнулся ни один мускул, словно посмертную маску, которую с него снимут на следующее утро, сразу после самоубийства, он сам заранее на себя надел.

Так что, завтра, добавил Вождь, не сводя глаз оттуда, где, как он думал, сидел Преемник. Голос у него был усталый, словно смягчившийся после утомительного дня. Постарайся сего-

дня хорошенько отдохнуть, а завтра спокойно выступишь. И вы все тоже.

На лице Преемника было то самое знакомое уже застывшее выражение и та же мертвенная бледность. Адриан Хасобеу почувствовал во всем теле слабость, словно немедленно последовал совету Вождя хорошенько выспаться. Невнятная мысль о том, что это была ночь, которая должна повториться... рубежная ночь... как и тогда... странная календарная аномалия, подчинявшаяся только слепому и возникавшая только когда он ее вызывал... и силы совершенно его оставили.

Так он и приехал домой, словно наполовину парализованный. Он уже готовился лечь, даже не поужинав, когда его позвали к телефону. Вождь дожидался его в своем кабинете. Глаза у него были совершенно мутные. Речь и того хуже. У меня есть скверные предчувствия относительно того, что должно случиться сегодня ночью, сказал он. Поэтому я тебя и вызвал. Только тебе я доверяю. Что он от него требовал, было не вполне понятно. Чем сильнее Адриан Хасобеу пытался сосредоточиться, тем меньше понимал. Ему нужно было пойти в дом того, другого. И попытаться узнать, что случилось... Только ты сможешь это сделать.

Напрасно он пытался получить какую-то подсказку, заглядывая в темные, кофейного цвета глаза. Там была только бездонная ничего не понимающая слепота, и больше ничего. Пару раз ему показалось, что тот хочет дать ему что-то, возможно, ключи от подземного тоннеля, если и в самом деле существовал такой тоннель. Но так ничего и не произошло. Ни ключей, ни дальнейших разъяснений. Он только продолжал повторять одно и то же: только тебе я верю! А затем вновь и вновь повторял следующее: он должен был пойти в полночь, пешком, и охрана, когда его узнает, не станет беспокоиться, он ведь министр, это совершенно естественно проверять в полночь охра-

ну... и все остальное... а затем, чтобы немедленно возвращался, он будет его ждать... с нетерпением...

Не осмелившись перебить его, Адриан Хасобеу, после слов: «а сейчас иди!», ушел. Он ждал наступления полуночи у себя дома, затем, один, пешком, завернувшись в черный плащ, вышел через боковую дверь. Ночь была черной, шел дождь, сверкали молнии, это была совершенно особая ночь, совсем не такая, какой можно было бы представить рубежную ночь, и сквозь нее он шел словно в кошмарном сне.

Еще издали он увидел свет в окне спальни Преемника. Это было единственное горящее окно со стороны фасада. Охранники, когда он поднял капюшон, узнали его. Словно в лихорадке он обошел вокруг дома, вглядываясь в каждую дверь, словно надеясь, что какая-то из них откроется...

Через некоторое время он вновь оказался перед кабинетом Вождя. Тот и в самом деле его дожидался, и даже вышел из-за стола, сделав один шаг ему навстречу.

«Сделал?» спросил он, не скрывая своего нетерпения.

Адриан Хасобеу утвердительно кивнул.

Тот уставился на его руки, словно искал на них пятна крови. Взгляд его был настолько пристальным, что Хасобеу захотелось их вымыть.

Двери были запорты изнутри.

Он и сам не был уверен, действительно ли он произнес это вслух. Тот сказал: теперь я могу спать спокойно.

На улице усилился дождь. Адриан Хасобеу думал, что направляется к своему дому, однако ноги сами привели его в совершенно другое место. Когда он снова разглядел вдали свет в окне Преемника, он понял, куда. Он достал револьвер из кармана плаща и привинтил глушитель.

Рано утром все четыре телефона у него в доме трезвонили как сумасшедшие. Когда он прибыл в дом Преемника, генеральный прокурор был уже там. Словами «кто сдвинул тело?»

он мгновенно подавился, под взглядом вытаращенных, опухших от бессонницы глаз вдовы. Я хотел спросить, не сдвигал ли кто-нибудь тело?

Он так сосредоточенно до самых мелочей все обдумал, что даже вид холодного тела Преемника казался ему теперь знакомым.

На заседании Политбюро, начавшемся через час после этого, он напрасно пытался поймать взгляд Вождя. Что же тот думал по поводу произошедшего? Вопрос этот повторялся сотни раз - и в тот день, и особенно потом, пока текли бесконечные недели проведения аутопсии. Их последний разговор, тот, что был в полночь 13 декабря, теперь выглядел полным бредом. То ему казалось, что в нем вообще не было никакого смысла, то, напротив, что смысла было гораздо больше, чем нужно, и произошел обрыв нити. С того момента, как он вышел от него, и ноги, вместо того, чтобы отнести его к себе домой, привели его снова к дому Преемника, он почувствовал, похоже, что нужно что-то исправить. И, вероятно, именно тут все и пошло наперекосяк.

Полагал ли Вождь, как и половина Тираны, что Хасобеу был убийцей? Что он собирался совершить убийство, но не смог, потому что кто-то оказался более быстрым? Что сам Преемник оказался более быстрым, чем они оба, и сам выполнил эту работу?

Чего бы он только ни отдал, чтобы узнать хотя бы половину подозрений Вождя. Время от времени какие-то размышления вспархивали и улетали сами, исчезая, словно потревоженные птички, и вместо них в пустоте висела одна оставшаяся мысль: возможно, он должен исчезнуть, поскольку слишком много знает? Это было самое первое рассуждение, простое как камень, но которое Адриан Хасобеу легко отбрасывал, именно потому что это было слишком просто. Это было очень баналь-

ное рассуждение, слишком очевидное, чтобы его использовал Вождь.

Нет, устало рассуждал он сам с собой, так и не сумев понять со всей определенностью, что могло означать это неприязненное отношение к нему Вождя. Может быть, тот подозревал его в убийстве, тем более, если узнал о втором его приходе к дому Преемника. Ну, если не в убийстве, то в том, что он, возможно, подтолкнул того к самоубийству. Что ему удалось его убедить. Что ему не удалось... Клубок мыслей начинал разматываться с самого начала, и он сам был уже не в состоянии понять, что было правдой, а что нет, в этих хитросплетениях.

Несколько раз он принимался уже писать письмо. Он готов был взять на себя любую мыслимую вину, убийство, доведение до самоубийства, да все что угодно, лишь бы это помогло решить вопрос.

После облегчения, вызванного написанием первых строк письма, возвращалось оцепенение. В отчаянии он думал, что не смог понять намеков Вождя. Они всегда были очень скупыми, как в случае с Кано Жбирой. После каждой эксгумации его тела попадали в опалу прежние триумфаторы, а во время следующего вскрытия могилы приходила очередь других изведать горечь падения.

В последние годы недопонимание только усугублялось. Похоже, с приближением слепоты он видел теперь что-то совсем другое, чего они не могли разглядеть. Все они ощущали себя заблудившимися в этом тумане.

И хотя он все это прекрасно знал, в часы слабости ему хотелось кричать: зачем Вождь послал его туда в ночь на 13 декабря? Чтобы можно было его подозревать в убийстве, если бы вдруг понадобилось объявить это убийством? В какие-то моменты ему казалось, что все дело именно в этом, и ни в чем другом. У смерти Преемника было две маски, и из них нужно было выбрать одну. Если ты этого не делал, то почему тебе

нужно в этом признаваться, сказала ему жена. После долгого молчания, когда она еще раз повторила вопрос, он ответил: ни она, и никто другой не сможет этого никогда понять! Непонимание было связано с открытием, которое он недавно сделал. Подозрения были самой священной частью в мозгу любого Вождя. Они были подобны своре собак, с которыми можно играть в часы одиночества. И горе тому, кто осмелится их коснуться! Жена схватилась руками за голову, а он, почувствовав некоторое облегчение, объяснил, что именно по этой причине он, поняв, что Вождю не нужна никакая ясность, стал избегать любых выяснений. Он хотел этим дать ему понять, что готов принять свою судьбу, другими словами, он будет тем, кем захочет тот. Если ты хочешь, чтобы я был убийцей, объяви меня им, господин. Если хочешь чего-то другого, реши сам.

Из гостиной доносилось монотонное журчание родни, умиротворенное как никогда. Сквозь него издали пробивалось легкое постукивание, тук-тук, которое, как ни странно, вместо того, чтобы вызвать раздражение, будило в нем какую-то позабытую печаль.

Когда он встал и толкнул дверь в гостиную, то понял, что это такое. Рядом в столовой три его сестры, при помощи прислуги раскатывали скалками тесто. Что ты удивляешься, братец, спросила его одна из них. Забыл, что у тебя послезавтра день рождения?

Одна из сестер, с руками, до локтей белыми от муки, подошла его обнять. Отдохнул, дорогой? Мы тебе такую баклаву сделаем, какой ты еще в жизни не пробовал.

Еще не совсем проснувшись от глубокого сна, он разглядывал белые тонкие коржи теста, сложенные в стопку один на другой, как это делали когда-то накануне свадеб в большом деревенском доме. Он совершенно забыл о собственном дне рождения, как и о многом другом, в это черное время года.

Он попросил стакан воды, а потом снова повернулся к многослойной баклаве, словно никак не мог насмотреться.

5

Дню рождения Адриана Хасобеу, который должен был стать кульминацией его триумфа, хватило всего несколько часов, чтобы превратиться в полную катастрофу.

Первое тревожное предчувствие, пока еще легкое, еле заметное, как шуршание невидимых крыльев, появилось сразу после одиннадцати часов. С поздравлениями прибыло почти все правительство и большинство членов Политбюро. В любой момент ожидали прибытия Вождя. В подобных случаях он обычно приходил именно в это время. Все об этом свидетельствовало: народ жался по углам, общий шум заметно поутих, а взгляды невольно устремлялись на входную дверь. Даже бокалы и бутылки, стоявшие на столе, казалось, приглушили свой блеск. Адриан Хасобеу делал сверхчеловеческие усилия, чтобы не смотреть на часы. Но они были повсюду. Если и есть в этом мире какие-то предметы, сильнее всего похожие на человеческие лица, то это, несомненно, часы.

И стоило вам ради меня из кожи вон лезть? с горечью подумал он. Но тут же понял, что неправ. Это была его родня, и пережить падение им предстояло всем вместе.

В полдень стало понятно, что все перешептываются, хотя этого еще не было слышно.

Оцепенев, он подумал, что еще достаточно времени для письма или поздравительной телеграммы. Никто не говорил, что он должен прийти лично. Он не мог припомнить подобных случаев, но был уверен, что такое случалось, особенно в по-

следнее время, когда вопросы здоровья вышли на первый план.

Уселись за стол, и это внезапно вызвало некое оживление. Произносились обычные в таких случаях тосты, пили за его здоровье, и ему удалось держать себя в руках. Только в конце, когда дошло дело до баклавы, она вдруг застряла у него в горле. Словно в каком-то тумане вспомнились вдруг слова сестры: такой баклавы... такой баклавы... Он не хотел вспоминать продолжение этой фразы, но тщетно. Такой баклавы, и в самом деле, не доводилось еще есть ни ему, ни им.

После кофе никто не уходил. Он с нетерпением ждал, когда дом опустеет, ему даже захотелось крикнуть во весь голос: ну, чего вы еще ждете, не видите, что ли, что вы здесь лишние?

В мозгу его словно сплетался отвратительный клубок из нитей слепой ярости, из криков вроде: «сидите тут, чтобы порадоваться моему несчастью?», из мыслей о том, что они его сглазили, и что, возможно, нужно, чтобы они все ушли, чтобы пришел Он.

После нервного возбуждения вновь наступило оцепенение. В этот момент его поразило ясное и безжалостное осознание того факта, что, похоже, ни письма, ни поздравительной телеграммы уже не будет. И даже обычного телефонного звонка.

Ему это показалось ужасным, но уже через час, когда первые сумеречные тени стали сгущаться в саду, то, что Вождь не пришел, не только не казалось ему неожиданным, но наоборот, странной ему стала казаться его надежда, что Он должен был прийти.

И не только личный визит, но и поздравительное письмо, телеграмма, даже телефонный звонок, казались ему теперь навивными мечтами, достойными гимназистов. Он чувствовал, что еще немного, и он дойдет до такого состояния, что будет удивляться, почему до сих пор не пришли и не надели на него наручники.

После небольшого перерыва вновь стали приходиться посетители. Как и раньше: с тортами в руках, с бутылками, с цветами. Более бессмысленного каравана нельзя было и представить. Неужели они не понимали, что все это было совершенно неуместно? Кроме, возможно, цветов, которые годились как для дней рождений, так и для похорон.

Еще мучительнее, чем подарки, были поздравления. Пару раз он переспросил «что?», поскольку совершенно не расслышал. «Вперед, к новым вершинам!», ответили они.

Постарайся хоть чуть-чуть сдерживаться, прошептала ему жена, подошедшая якобы чтобы поправить занавеску.

Он повернул голову и посмотрел сквозь стеклянные двери, выходящие в сад. Быстро сгущался туман. Уже многие годы Он не выходил из дому в такое время.

Второй раз он столкнулся с женой в коридоре. Он замедлил шаги, поскольку понял, что она хочет что-то ему сказать. Послушай, сказала она. Я никогда не понимала, зачем ты пошел во второй раз... туда.

Он долго на нее смотрел. То есть, получается, хотя она и притворяется спокойной, даже она думает о том же.

Зачем пошел? тихо ответил он. Ты не поверишь, если я скажу: и сам не знаю!

Жена печально покачала головой.

Ты еще не сыт по горло этими тайнами? Всю свою жизнь ты провел среди них.

Он отрицательно покачал головой.

У меня нет тайн от тебя, дорогая.

Голос его, бывший до того тихим, едва слышным, вдруг охрип и звучал теперь странно, словно говорил не человек. Хочешь знать, что я делал там? Ничего. Теперь ты все знаешь, что хотела? Двери были заперты изнутри.

Успокойся! воскликнула она.

Он часто дышал.

Но ты чего-то ждал, тихо сказала она... снаружи, у дома.

Мне и самому не ясно до конца. Чего-то ждал, конечно... Какого-то сигнала, может быть, изнутри. Чего-то в этом роде. Наверное, мне казалось... что нужно дождаться сигнала... Наверное, я ошибался...

Сигнала от кого?

Я ничего толком не знал... От кого-то, кто сам не мог... По крайней мере, мне так казалось... Но никакого сигнала не было и в помине...

Это сумасшествие какое-то, сказала жена. Ты ждешь сигнала и сам не знаешь... Не знаешь, почему...

В этом-то и беда. Я совершенно ничего не понял... Все, что Он мне сказал в полночь, было так туманно. А то, что сказал потом, когда я вернулся, было еще непонятнее. Словно все это происходило во сне.

Вот что самое страшное, сказала жена. Он спит, и держит вас всех в руках. Вы бодрствуете и не можете ничего понять.

Он хотел сказать: это, как мне кажется, и есть его тайна: править словно во сне.

Выйди теперь к гостям, сказала она. Нас очень долго не было.

Они все еще там? Избавь меня хотя бы от них. Скажи им, что праздник кончился. Скажи им что хочешь. Только запри все двери!

В паре сотен шагов, в большой комнате, которую он в последнее время использовал в качестве кабинета, Вождь, повернувшись к широкому окну, слушал секретаря, который говорил ему, что происходило в саду за домом.

Свет угасающего дня словно отодвигал вдаль редкие деревья. Еще немного, и начнет смеркаться. Уже скоро не видно будет падавших сухих листьев.

Он спросил секретаря, не видно ли на небе облаков, и сразу после этого поинтересовался, продолжается ли все еще суета в доме Хасобеу.

Тот ответил на оба вопроса. Облаков было мало, а празднование только что закончилось.

Понял, наконец, подумал он. Теперь у него будет неделя для того, чтобы исправиться.

Холодная ярость, вернувшаяся после короткой передышки, была почти непереносимой.

Я дал тебе почти год, пробормотал он про себя. Он почувствовал горечь во рту. Он никак не ждал от него такой задержки.

Старинная песня из Гирокастры все чаще всплывала у него в памяти:

*Ты обманом меня обманул,
Вот лишь осень придет, обещал.*

Хасобеу обманул его. Даже листья, бездушные листья, и то знали, когда нужно покидать этот мир, а он притворялся, что не понимает.

Теперь у него есть неделя, длинная, бесконечная неделя, чтобы смыть вину.

Не вынуждай меня посылать черную волчицу, пробормотал он про себя.

Он не хотел сердиться перед ужином, поэтому постарался думать о чем-то другом.

Думаю, что уже совсем стемнело, обратился он к секретарю.

Совершенно стемнело, ответил тот. В саду зажглись фонари.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВОЖДЬ

1

Неделя, казалось, тянется невыносимо медленно. До пятницы, дня заседания Пленума Центрального Комитета, было еще далеко. Всю первую половину дня во вторник он слушал доклады послдов, а также обзор криминальной хроники столицы. Семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в соседнем квартале. Слухов о том, что ожидается падение Хасобеу, было пока еще немного. Из зарубежных информагентств только одно об этом упомянуло, и то настолько переврало фамилию, что с трудом можно было догадаться, о ком идет речь. Юная девушка покончила с собой из-за любви. Юный гуляка, чинивший велосипеда у перекрестка возле ее дома, бросил ее. Хасеберг, вслух повторил он искаженное имя министра. Ты у нас теперь щеголяешь с немецкой фамилией. Между тем, пока о Хасобеу ничего не говорили, все пересуды о смерти Преемника вновь оживились, похоже, именно по этой причине. Ожидаемые потрясения на всем Балканском полуострове. Расширение Атлантического Союза на этом краю Европы. Нефть.

Самоубийство или убийство. Подлинная причина. Кто мог это сделать?

Опять завели свое, подумал он.

Секретарь ждал, пока он закончит бормотать, чтобы продолжить. Подземный тоннель: что могло произойти там в полночь 13 декабря!

Когда он услышал это, то рассмеялся. И чего им только не взбредет в голову, проговорил он и снова засмеялся. Затем попросил секретаря перечитать еще раз. По мнению одного аналитика, в полночь, именно там, в подземном тоннеле, произошла последняя встреча Вождя и Преемника, на которой вышеупомянутый, после словесной перепалки, выхватил пистолет, но охрана Вождя оказалась более проворной.

Секретарь дождался, пока тот отсмеется, потом продолжил. Итак, Преемник был убит в подвале, и чтобы завершить то, о чем ранее было сказано, окоченевший труп жертвы волоком, словно восковой манекен, втащили наверх по лестнице двое.

Подожди-ка, сказал Вождь. Прочитай еще раз.

Секретарь прочитал, в этот раз медленнее, но в конце тот потребовал перечитать, чтобы послушать еще раз. Во время чтения он повторял про себя текст: чтобы завершить то, о чем ранее было сказано... То есть то, что ранее было предсказано...

- Это прямо как в священных книгах, - проговорил он задумчиво. - В Библии, если не ошибаюсь, несколько раз какие-то события объясняются именно так.

Секретарь посмотрел на него с восхищением, как всегда делал, когда тот припоминал что-то из прочитанного ему. Он вновь опустил взгляд на листки с текстом, но тот его остановил: погоди, не спешу.

В первый момент секретарь не понял, чего тот от него хочет. Оказалось, речь шла об одном довольно сумбурном тексте, прочитанном накануне, в котором некий аналитик, упомя-

нужно сначала таинственную смерть в Тиране, попытаться затем раскрыть, каким образом работает мозг властителя.

Секретарь спокойно рылся в папках. Он уже сорок лет занимался этой работой, и потеряв при этом все что только можно, заодно потерял и страх.

Найденный, наконец, текст был коротким. Мозг тирана, по мнению аналитика, работал часто в соответствии с тем, что можно было бы назвать архитектурой кошмара. Кошмар, как и любой сон, строился с конца. Затем, в одно мгновение, в долю секунды, достраивалась остальная часть. Чтобы наглядно проиллюстрировать свою мысль, исследователь сравнил это с тем, как если бы строительство здания начиналось с его развалин. Все остальное: стены, внутренние перегородки, окна, дымоходы, и даже предметы обихода мгновенно добавлялись, чтобы тут же быть уничтоженными. В случае осуждения кого-то, мозг правителя следовал той же схеме: сначала планировалась смерть жертвы, а все остальное добавлялось потом.

Да вы сами так всегда делали, пробормотал он про себя, гневно засопев.

Они сами так делали еще с библейских времен, а теперь его еще в чем-то обвиняют, повторил он, понемногу успокаиваясь.

За спиной он слышал шаги жены.

- Тебе письмо от Хасобеу, - сказала она, наклонившись к его плечу.

- Вот как? Ну что же поглядим, как работает мозг... фон Хасеберга.

Письмо показалось ему слишком длинным и неискренним. Хасобеу жаловался, что не понимает, почему по отношению к нему продолжают проявлять холодность теперь, когда все выяснилось. Раньше, в то время, когда считалось, что Преемник был героем революции, и подозревали, что он мог пасть от чьей-то вражеской руки, недоверие по отношению к нему, Ха-

собеу, могло иметь какие-то основания. Но теперь, когда уже известно, что тот был предателем и собственноручно покончил с собой, в чем можно было его подозревать?

Вот шельма, выругался он про себя. Ты и в самом деле веришь, что меня можно обвести вокруг пальца?

Дыхание снова участилось. Хасобеу прикидывался дурачком, чтобы спастись из ямы, которую вырыл собственноручно. Вот у него как все просто: Преемник — мученик, убитый кем-то? Имеете полное право подозревать меня. Ах, Преемник, оказывается, предатель, собственноручно покончивший с собой? Не понимаю, какие у вас вопросы к Хасобеу! Пиши, приказал он секретарю. Хасобеу забывает, что есть и третье объяснение, которое может оказаться самым верным, как говорится, сначала недолет, потом перелет, а на третий раз — точное попадание. Мученик или предатель, убитый или покончивший с собой, все это неважно — Хасобеу нельзя исключать при любом повороте событий. Он как гиена крутился ночью вокруг дома жертвы. Собирался его убить, и не сумел, собиравшись вынудить его совершить самоубийство, а того и вынуждать не нужно было. Проник или нет убийца внутрь дома — это, как и все прочие детали, не меняет ничего в сути вопроса. Это типичная для заговорщиков история, когда участники заговора собираются убрать главу заговора, как только учуют опасность. Это все уже теперь известно!

Это всегда было известно, подумал он. Так же как всегда было известно, чем все в конце концов заканчивается.

Пиши, снова приказал он секретарю. Нужно отправить ему от нас короткое письмо, от моего имени: все, что ему известно, пусть расскажет послезавтра на пленуме Центрального Комитета. Пусть выложит все до самого конца, без утайки.

Он уже сейчас представил, какая гробовая тишина воцарится в зале, когда он произнесет эти слова: выкладывай все начи-

стоту, Хасобеу! Посмотрим, кого ты сможешь испугать своими тайнами!

Открытие, сделанное им в последнее время, - о том, что знать все тайны вокруг себя, это, конечно, замечательно, но не знать их часто оказывается еще более замечательным, - это открытие, казалось, подействовало на него успокаивающе. Слепота, похоже, только подтвердила эту истину.

Он понятия не имел о том, что произошло в доме Преемника в ночь перед рассветом 14 декабря. И раз уж он сам не знал, то пусть хоть тысяча лет пройдет, никто этого не узнает.

Теперь они вертелись вокруг подобно каким-то неведомым существам, пищали что-то своими слабенькими голосами, подавали какие-то знаки руками, подмаргивали, пытаясь объяснить ему, что, по их мнению, произошло. Но все, что они пытались объяснить, было всегда обрывочным и бессмысленным, потому что именно таким, обрывочным и фрагментированным, словно увиденным фасеточными глазами мухи, они все это и пережили.

Кроме покойника в этой истории, похоже, были замешаны еще двое. И никто никогда не узнает, как они сцепились во мраке, и что там происходило – стычка, противоборство, угрозы - пока не наступила тишина. И слышен теперь был только один голос, голос Хасобеу, плаксивый и жалобный: да ведь двери были заперты изнутри!

Ты же министр внутренних дел, и не знаешь, что когда доходит до действительно важных убийств, двери всегда запираются изнутри.

Ему показалось, что он услышал шум ветра, и он спросил, что происходит в саду. В древних трагедиях, насколько он мог припомнить, речь шла только об одном: как изгнать преступление из рода, извергнуть его наружу. А вот о том, чтобы наоборот, внедрить его туда, никогда не говорилось, по крайней мере, он такого не мог припомнить.

Аисты, похоже, покидают гнезда, сказал секретарь. Судя по их суетливым движениям.

Шаги жены у него за спиной помешали ему договорить.

- Не хочешь ли ты мне сказать, что снова принесла письмо? – весело спросил он, не поворачивая головы.

- Вот именно, - подтвердила она.

Перед тем, как произнести «невероятно!», он потрогал письмо. Письмо было от вдовы Преемника.

Теперь не хватает только письма от покойника, подумал он.

Конверт показался ему тяжелым, и он тут же подумал, что только таким и может быть письмо вдовы. Что же такое она там понаписала, подумал он. Какие вести прислала нам товарищ Клитемнестра...

Сожги его, спокойно сказал он жене.

В полной тишине он услышал знакомый звук зажигаемой спички, затем веселый треск пламени, вскоре стихнувший. Легкое потрескивание превратившейся в пепел бумаги слышно было еще довольно долго.

Он подождал, пока стихнут шаги жены, вынесшей пепельницу, и сказал секретарю: «Я больше не хочу, чтобы она присылала мне письма. Чтобы даже мысль такая ей в голову не приходила».

Он не хотел знать, что произошло в том доме. Как они натыкались там друг на друга, мучились сомнениями, все время опаздывали, или перекрикивались в тумане. Пусть они заберут все это с собой.

По дыханию секретаря он понял, что тот собирался что-то сказать. Может быть, о гнезде аистов. Неизвестно почему ему вспомнился вдруг чернявый грек, которого звали Хаджи, и мальчишки из его квартала, бегавшие за ним с криками: Хаджи-аист, Хаджи-грека, улетай скорее в Мекку!

Пришел час, в который в последнее время к нему приходила легкая дремота.

Пленум Центрального Комитета начался в четыре часа, и первое заседание еще не закончилось. За окнами начинало смеркаться. Опершись локтями на стол, Вождь ощущал, как напряжение в зале ослабевало. Он представлял, как все обменивались сейчас вопросительными взглядами. Они наверняка ожидали полного драматизма заседания, а в результате выслушивали скучнейшие вещи. Какие-то изменения в госбюджете в сфере энергетики, какие-то проблемы с несвоевременным выполнением плана. Те, кто испытывал страх, несомненно, радовались, - вот бы в этом духе и дальше так все шло, молились они про себя. Вот эти вот всякие гидроцентрали, хлопковые поля, эмансипация женщины. Зато другие, те, кому не терпелось дожидаться свиста бича, понемногу начинали раздражаться. Великие тайны, от которых леденела кровь, рассматривали, похоже, только на Политбюро, а им оставался исключительно тяжкий труд, бюджеты, планы.

Адриан Хасобеу вошел в зал с совершенно серым, земляного цвета лицом. Опустив голову, занял место в четвертом ряду, и места по бокам от него остались пустыми. Все это прошептал на ухо Вождю его новый помощник, впервые занявший место справа от него.

Задумавшись о чем-то, он отвлекся от происходившего в зале, но после перерыва, когда участники заседания заняли свои места, и помощник сказал ему, что уже не четыре, а шесть мест оказались не заняты по обеим сторонам от Хасобеу, глухая ярость, темная, как любая ярость, воскресшая после того, как утихла на какое-то время, показалась ему просто нестерпимой.

Собака, пробормотал он про себя. Сидит тут как привидение, как холерный больной, и делает вид, что совершенно ничего не понимает.

Пленум перешел к обсуждению второго пункта повестки дня: вопрос обеспечения безопасности страны. После первого секретаря партийной организации столицы, слово попросил Хасобеу. Когда он подошел к микрофону, выяснилось, что голос у него стал писклявым. Вождь смотрел в его сторону — застывшим неподвижным взглядом. Только когда тот упомянул большой заговор, он его перебил.

- Слышали мы все, что ты сказал, говорил ты и про то, что уже двадцать лет как министр внутренних дел и все такое, но раз уж ты упомянул последний заговор, я хотел бы тебя спросить: почему же до сегодняшнего дня все заговоры раскрывала партия, а не госбезопасность, которую ты возглавлял?

Хотя он и не видел его, но легко мог представить, как Хасобеу хватается за микрофон, чтобы не упасть, потом за стойку микрофона, провод которого обвивается вокруг него словно змея.

Гиена, выругался он про себя, тварь ночная. Змееныш подколодный!

Хасобеу начал что-то отвечать, но гул зала заглушил его голос.

Да задавите же его, пробормотал Вождь про себя. Он не ожидал, что вызываемые этим человеком приступы удушающего гнева станут повторяться так часто. Он едва переводил дыхание.

Семнадцатилетняя девушка покончила с собой из-за того, что ее бросил парень, чинивший велосипеды.

Ты, понял ли ты, наконец, что ты мне больше не нужен, прокричал он про себя.

Он это понял еще зимой. И затем, уже позже, а затем вновь и вновь. Ну, чего же он тогда ждал? Разве охлаждение к нему

не достаточный повод для того, чтобы исчезнуть? Какого-то велосипедного проходимца уважали больше, чем его. От одного этого можно было зарыдать в голос.

Из зала кто-то выкрикнул: Хасобеу, не вилай!

Задавите же его, повторил он про себя, при этом жестом призвав всех к тишине.

Ты вынуждаешь меня выпустить черного зверя... подумал он.

Именно так, хотя он и не вполне отдавал себе в этом отчет, ему казалось, называется рубежная ночь, та, что снова и снова разрывает собой два дня одного заседания.

Это было его собственное изобретение: рубежная ночь, вынуждающая к молчанию получше любого кляпа, приближение которой чувствовали все, но никто не осмеливался упомянуть ее вслух.

Той же рукой, которой он сделал жест, призывающий всех к молчанию, он достал часы из кармана.

Тридцать с чем-то лет назад, он так же дотронулся до холодной цепочки, еще не вполне отчетливо понимая, какое ужасное чудовище он выпускает на свободу. Товарищи, поскольку уже поздно...

Молчание зала с течением лет становилось все глубже.

Не успев закончить фразы, он почувствовал, как на него снизошло знакомое благодатное умиротворение, эхо которого волной прокатилось от него по залу, и, отразившись, вернулось обратно. Он подождал еще немного, пока оно не вернется все без остатка. Это было ни с чем не сравнимое ощущение, это беспредельное сладкое изнеможение. Разве что в других мирах, в особых зонах для сна, можно было бы найти что-то подобное.

Ему не нужен был ни орел с железным клювом, ни грохочущие молнии. Внутри этой ночи скрывалось и то и другое.

Задай-ка ему как следует, подумал он с нежностью, вставая, чтобы выйти из зала.

3

Спал он беспокойно. В первый раз он наполовину проснулся, терзаемый чем-то совершенно невообразимым. Он хотел хоть как-то отдать последний долг Хасобеу, но никак не мог решить, что же можно сделать с его остывшим телом, с дырой от пули в виске, которая была больше похожа на нарисованную, чем на настоящую. Во второй раз, уже на рассвете, ему приснилось, что пока он его обмывал, в соответствии с древним обычаем, положив на какие-то доски во дворе мечети, ему вдруг пришла в голову мысль: что, неужели никого больше не нашлось, чтобы этим заняться? Какой-то цыган, празднично глазевший на происходящее, сказал ему: не парься попусту, в семье твоего отца этим занимались из поколения в поколение! Он хотел ответить ему: «все это брехня эмигрантской печати!», но голос у него осекся.

Утром у него вдруг всплыли в памяти какие-то обрывки этого кошмара, и он помрачнел. Если бы жива была мама, она наверняка сказала бы: вот как запретил ты мусульманство, так тебе и снятся такие сны.

Жена ждала его, как всегда, за обеденным столом. Едва они обменялись взглядами, как он сразу понял, что из дома Хасобеу не было никаких известий.

Змея, пробормотал он про себя. Козел кастрированный.

Пока он пил кофе, ощущение пустоты под ложечкой все усиливалось. Вместе с ощущением, что нечто важное утрачено навсегда.

- Не ожидал от него такого, - сказал он.

Опьянение, испытанное накануне, оставило после себя ощущение смутного страха.

Жена взглянула на часы.

Он отрицательно мотнул головой. Что испорчено, то уже не исправишь. погоди, ты у меня еще увидишь, пробормотал он про себя, вставая из-за стола.

Час спустя, входя в зал, где проходил пленум, он был убежден, что никто никогда еще не осмеливался на такое черное предательство, как Хасобеу. Он публично, перед всеми продемонстрировал ему свое презрение. Ждали, что я покончу с собой между двумя заседаниями? Выполню установленный ритуал, как Кано Жбира, как Омер Шейнани, как Преемник?

Теперь он сидел в одиночестве, как и накануне, с посеревшим лицом, но наверняка довольный тем, что отказался подчиниться.

Он представил его расстрелянным, на песчаном берегу реки, к северу от Тираны, чтобы и могилы у него не было, но даже это не прибавило ему уверенности. Тому все-таки удалось навредить ему перед тем, как исчезнуть из этого мира. Его рубажная ночь, преданная черная тварь, испустила дух после схватки с ним. Может быть, он и сам виноват, устало подумал он. Она сослужила свою последнюю службу. Не нужно было ее так часто использовать. Насколько ужасной она была, настолько же она была и уязвимой.

По молчанию, воцарившемуся в зале, он понял, что все замерло в ожидании.

- Слово предоставляется Хасобеу, - глухо проговорил он.

У микрофона Хасобеу долго не продержался. После недовольного гула в зале Вождь, не скрывая раздражения, перебил его:

- Тебе еще вчера сказали: не вилай, Хасобеу! Это последнее предупреждение.

Через пару минут Вождь перебил его снова:

- Послушай, ты, мразь болотная!

Голос у него осекся, и помощник придвинул к нему стакан с водой.

Залпом осушив стакан, он хотел продолжить, но он волнения не смог произнести ни слова.

В зале все оцепенели. Таким разгневанным — это было видно и по голосу, и по выражению лица — Вождя им не доводилось еще видеть. Глаза его сверкали столь вдохновенно, что многие потом признавались – они поверили, будто к нему вернулось зрение. Желание кричать перерождалось в беззвучное рыдание, а рыдание переходило в приступ восторга. Вождь, наш командир, переложил на нас всю тяжесть своей печали! беззвучно молили они. Расскажи нам все, что знаешь об этом Иуде, как бы тяжело это ни было! Избавь себя от этого яда, излей его на нас, и тебе останется только смотреть, как мы будем страдать, как будем сплетаться подобно щупальцам агонизирующих чудовищ, будем кусаться, будем биться в смертных конвульсиях, и падем бездыханными, - только вырази желание — чтобы сдохнуть у твоих ног!

У микрофона Хасобеу тоже оцепенел. Рот у него открывался, пытаясь что-то произнести, но словно невидимые клещи сжимали ему челюсти обратно. Весь изогнувшись, схватившись за стойку микрофона, чтобы не упасть, он все же смог прокричать: я невиновен!

И вот так, слившись с микрофоном в единое целое, с вытаращенными глазами, он услышал выкрики: «предатель!», «плюю в лоб!», и после выкриков увидел поднятые руки, головававшие за исключение его из партии.

Будучи уже не вполне в себе, он услышал обращенные к нему слова: «а теперь, пошел вон!», и затем, подходя к дверям, увидел председателя Мандатной Комиссии, который преградил ему путь. Он не понял, что тот говорит ему, не понял и смысла жеста, когда тот стал показывать рукой на левую сторо-

ну его груди, в область сердца. В помутневшем сознании возникла мысль, что какие бы крепкие у того ни были ногти, руками он его сердце вырвать не сможет. Рука же тем временем нырнула ему за пазуху, совсем близко к сердцу, и из внутреннего кармана вытащила партбилет.

По широкой лестнице, застеленной красной ковровой дорожкой, он спускался на ватных, словно чужих ногах. После изъятия партбилета ему показалось, что смертный приговор уже наполовину исполнен.

Он все спускался и спускался по множеству лестниц, а они все не кончались. В самом низу виднелся гардероб, казавшийся крохотным и далеким, словно на дне пропасти, и такими же крохотными лилипутами казались гардеробщики.

Когда он наконец добрел туда, на самое дно, один из них, на лице которого не было ни малейшего следа неудовольствия, снял с вешалки длинное пальто и подошел, держа его в руках. Взгляды их встретились, и они довольно долго смотрели друг на друга. Глаза у того не только не были мрачными, но казалось, светились изнутри тайным пониманием. Когда он помогал надеть ему пальто, прикосновение его рук было мягким, заботливым, совершенно как прежде.

Они там наверху знают? еле слышно спросил тот. На самом деле, он не вполне понял смысла вопроса. Он затуманился, перемешался с другими вопросами, а тот тем временем шептал ему в ухо: спокойно, шеф!

А руки его тем временем поглаживали ему усталую спину, не скрывая многолетней самоотверженной преданности.

Понадобилось всего одно мгновение, короче вспышки молнии, чтобы ему стало ясно, что эта гневная буря Вождя там наверху не могла быть беспочвенной и что, похоже, он, Хасобеу, сам того не ведая, давно уже возглавлял заговор.

Его последователи, уже не скрывавшие более своего восхищения, готовы были провозгласить его Вождем.

Нет, захотелось крикнуть ему, хотя он и был растоптан обоими, он их не предавал, ни партию, ни Вождя.

Нет, крикнул он, пытаясь вытащить руки из рукавов этого проклятого пальто. Теперь у него было одно-единственное желание: вихрем взлететь по ступенькам, ворваться в зал, чтобы бросить клич: заговорщики, мои сообщники, там внизу! Они ждут вас с длинными шинелями, пыльными и в пятнах засохшей крови, чтобы набросить их вам на плечи!

Он вновь рванул руки, чтобы как можно быстрее освободиться от этих предательских объятий, но руки гардеробщика вдруг окаменели и сдавили его тело словно в тисках. Другой гардеробщик, наблюдавший за происходившим, сделал два шага в их сторону, и коротким движением достал наручники.

4

Падение Адриана Хасобеу было встречено в столице со спокойствием, превосходившим даже то самое безразличие, которое и привело к этому падению.

Услышав слова «Хасобеу сняли!», люди, словно выходя из оцепенения, тут же вспоминали, что судьбу его, так же как и судьбу Преемника, предвидели заранее. Единственным отличием было то, что падения Преемника ожидали в течение только одной осени, а падения Хасобеу ждали целый год, да что там год, не год, а шесть лет, и даже больше, шестнадцать, а может, и двадцать лет, с того самого момента как он был назначен главой госбезопасности — «Сигурими». Падение, так же как и его причины, были легко объяснимы: Хасобеу слишком много знал.

Известие, просочившееся из столичной тюрьмы, о том, что едва Хасобеу туда прибыл, как ему отрезали язык, показывало,

насколько опасными могли быть тайны, известные Хасобеу, в случае если бы вылетели, пусть даже и в виде воплей, за стены камеры.

Словно пытаюсь заполнить собой молчание, возникшее после отрезания заключенному языка, столица в эти дни наполнилась несмолкаемым гулом передаваемых вполголоса слухов. Но к всеобщему удивлению, в слухах этих очень скоро перестал фигурировать Хасобеу, а все вернулись к обсуждению Преемника, пытаюсь наконец окончательно раскрыть его великую тайну.

Стало понятно, что теперь уже надолго тайна Преемника будет единолично господствовать в стране, где сам этот бедолага так и не сумел стать первым, или, как в последнее время принято стало говорить, номером один.

Дом его, давно уже темный и безлюдный, смутно виднелся сквозь деревья у Большого бульвара. У проходивших мимо него, - особенно у тех, кто выходил ночью из Национального театра после оптимистических драм, полных смеющихся и добросердечных персонажей, - мурашки пробегали по телу от ни с чем не сравнимого ужаса. Кажется, именно один из таких вот прохожих театралов, который сразу после представления высказал мнение, что именно здесь, у этого злосчастного дома, и начинается Европа, и был за это мнение уже в полночь вызван куда нужно для дачи объяснений. Вначале он пытался вилять, уверяя, что хотел этим сказать примерно то же самое, что говорилось и везде, то есть что именно оттуда тянулись нити заговора, там таилась гибель Албании, черная пропасть, но уже на третий день пыток признался, что был противником искусства социалистического реализма, и более того, именно презрение к нему привело его к преступной мысли о том, что, будь его воля, он закрыл бы Национальный Театр, поскольку тот ни в коей мере не может сравниться с елизаветинским домом

Преемника, единственным зданием в Албании, напоминавшим крепости или барочные дворцы Европы.

На самом деле мрачное здание все интенсивнее порождало бесконечное множество странных ощущений и просто выдумок. Шныряли вокруг дома - и внутри и снаружи - в ту декабрьскую ночь покойник, его жена и Хасобеу. Подавали друг другу какие-то знаки, просили о чем-то, словно в пантомиме, и о чем-то, похоже, никак не могли договориться. Да еще, похоже, вспышки молний затмевали свет фонарика, который должен был передать изнутри какое-то сообщение кому-то, ждавшему снаружи, или наоборот, от того, кто был снаружи, тем, кто находился внутри.

В этот кружащийся хоровод теней один сумасшедший из психиатрической клиники Тираны неожиданно добавил четвертого персонажа: архитектора. Врач, выслушавший его в первый раз, хотя и был человеком привычным к разного рода бредовым фантазиям, просто открыл рот от изумления. Ну каким, спрашивается, образом мог быть замешан в этот черный клубок художник с бледными руками, оживлявшимися только в тот момент, когда он брал карандаш, чтобы плести кружево из линий и окружностей, поражавших своей изысканностью любого, кому довелось бы только бросить на них взгляд?

Сначала именно так он и подумал, но чем больше размышлял, тем более закономерным ему представлялось, что в невообразимой пропасти, полной фальшивых дверей и обманчивых знаков, потребовалось, похоже, именно его чудотворное вмешательство, чтобы все произошло как произошло.

А между тем вопросы о том, каков был истинный смысл падения Преемника, и чья рука оборвала ему жизнь — его собственная или кого-то другого — разлетались с наступлением зимы как никогда интенсивно.

Как и ожидалось, медиумы, притихшие на какое-то время, снова оживились и вылезли на свет. Самым упорным был ис-

ландец. Ему снова удалось войти в контакт с потусторонней ипостасью покойного, вопль которого был все таким же страдальческим, как и раньше, а речь все столь же темна. Он жаловался, что ему чего-то не хватает, то ли части тела, то ли, как можно было истолковать и по-другому, части сознания.

Вследствие этого, кроме присутствия двух женщин, просматривавшегося, хотя и совсем слабо, посреди того, что медиум вновь сравнил со снежным крошевом, все остальное расшифровке не поддавалось. Особенно трудно было понять, что связывало Преемника с двумя женщинами, и столь же трудно, да почти невозможно, уловить смысл в этом запутанном клубке, из которого доносились жалобные крики. Они напоминали, как и раньше, какую-то просьбу, но можно было принять их и за приказ или просто восклицание. Выматывали смерть. Но у кого? И чью?

В другой раз аналитики, возможно, и посмеялись бы, как раньше, над историями о женщинах, которые требовали свернуть шею любовницам или наоборот, ну, в общем, понятно, о чем речь, но конец недели выдался чрезвычайно выматывающим, и всем было не до шуток. Явно через силу, что было вызвано однообразной утомительной работой, один из аналитиков, помимо двух уже известных прогнозов, - одного, связанного с расширением НАТО на южной границе Европы, и второго, касающегося открытия новых залежей нефти на албанском побережье, в этот раз на дне моря, - добавил, что, по мнению медиума из Исландии, похоже, что в темных событиях ночи 13 декабря был замешан кто-то из своих.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

АРХИТЕКТОР

Когда в начале той весны, в то время как вся столица занималась только тем, что ломала голову, пытаясь разгадать самую тайну самой загадочной смерти эпохи, когда в тот мартовский день я взял и признался своей жене, что убийцей был я, она, бедолага, несомненно, решила, что я сошел с ума.

Проснувшись, я заметил следы высохших слез у нее на щеках, и все же, ни в тот день, ни позднее, ни даже теперь, когда мое имя стало упоминаться среди теней, вертевшихся ночью 13 декабря вокруг проклятого дома, ни я, ни она не возвращались больше к этому разговору.

Изредка, в те особые моменты перед занятием любовью, когда самые невысказанные вещи становятся вдруг осуществимыми, я, замечая в ее глазах тот особый блеск, предвещавший,

что любопытство ее вот-вот вырвется наружу, ожидал, что она спросит меня: что это были за фантазии у тебя в тот сумасшедший день? Но она молчала, похоже, из опасения, что вопрос ее может вновь оживить сумасшествие.

Однажды вечером, когда я сам, изнемогая от желания высказаться, тихим голосом проговорил: а ты помнишь, тогда вечером, когда я тебе сказал, что это я... что это я... ну, тот кто... она, не дав мне закончить фразу, закрыла мне рот рукой. На ее лице было столь невыразимое страдание и отчаянная мольба, что я поклялся себе навсегда отказаться от этого соблазна.

Теперь я обречен переваривать все это внутри себя — вопросы, догадки. И ее, и всех остальных.

Иногда я сержусь на нее. Это ее право — не желать верить в то, что убийцей был я. И все же именно она, как никто другой во всем мире, должна была первой заподозрить меня в совершении этого преступления. Потому что только она знала об унижении, которому подверг меня Преемник, о моей неистовой ненависти к нему и неудержимом стремлении отомстить.

Это случилось после единственного обеда, первого и последнего, на который я был приглашен по поводу начала работы над проектом. Я уже и не помню, какая из наших шуток, моя или его сына, вызвала вдруг острое раздражение хозяина дома. Выпитое нами вино, видно, ударило нам в головы и мы позволили себе, похоже, отпустить несколько выражений того рода, что именуются... ну, в общем, несли всякую чепуху. Не сводя с меня своих ледяных глаз, он сказал, что всяким либералам, то есть нам, иногда было бы полезнее не дипломы выдавать, а отправлять строить деревенские конюшни.

От этих слов я мгновенно протрезвел. Помимо обиды, меня охватила грусть: в его доме, в доме, который я украшал, меня, архитектора, угрожали отправить строить конюшни! По дороге домой печаль превратилась в бешенство. Это была всепоглощающая ярость, неизвестная мне доныне, словно прилетевшая

из потустороннего мира, вырвавшись из чьей-то души, чтобы случайно обрести убежище в моем слабом теле.

У меня перехватывало дыхание, пока я шел вдоль берега Ляны. Вместо того чтобы успокоиться, ярость чем дальше тем больше усиливалась, слепая, опасная, теперь смешанная с жаждой мести.

Я не узнавал сам себя. Вне всякого сомнения, у меня был внезапный припадок безумия. И у меня вновь и вновь возникала мысль, что это было не просто возмущение человека, оскорбленного в гостях, за обеденным столом, но нечто гораздо большее, глобальное. Все страдания архитекторов прошлого разрывали мне грудь. Оскорбления, наверняка выслушанные ими у входа в пирамиду четыре тысячи лет назад, а вслед за оскорблениями им отрезали руки и выкалывали глаза. Крики из подземелий Вестминстера, вопли Миноса, создателя ужасного Лабиринта. Просьбы о пощаде во дворце Атридов. Во дворце Чаушеску...

Они требовали от меня взять на себя священный долг кровной мести именно здесь, в этом государстве, где после ее безраздельного тысячелетнего владычества, ее древний кодекс правил только что был похоронен. И более того, они требовали этого от меня, их несчастного пра-пра-правнука, у которого не было ни оружия, ни решительности, необходимой для отмщения по всем правилам.

Ну что я мог сделать, разве что изуродовать проект?

Я даже сам удивился этой новой бредовой мысли, пришедшей мне в голову.

Изуродовать здание... Я даже в голос рассмеялся от мысли о такой жалкой и никудышной мести, но через мгновение смех сменился желанием разрыдаться.

Дома, едва увидев меня, жена переменилась в лице и смертельно побледнела. Что же это, вот несчастье-то какое, повторяла она, пока я рассказывал о том, что произошло. Она во-

обще паникерша по складу характера и уже представляла, как мы месим жуткую грязь в какой-нибудь глухой деревне, я строю конюшни, а она доит коз.

Как и всегда в таких случаях, закончилось все тем, что мы голые оказались в постели. Мы оба стонали ничуть не хуже замученных архитекторов.

Потом, когда пили кофе, мы постарались успокоить друг друга. Что, изгадишь ему дом, а? спрашивала она меня, но сил смеяться у нее уже не было. Я просил ее меня не подначивать. Я обещал, что если меня не выгонят с работы, то сделаю этот дом самым прекрасным во всей Албании. Только бы меня не трогали, повторял я, только бы меня не трогали.

Неделя прошла в нервном напряжении, но телефонный звонок из управления, занимавшегося вилами руководства, дал мне понять, что ничего не изменилось.

Воскреснув, я с трудом дождался утра, чтобы пойти в мастерскую. Линии, окружности, эскизы тоже, казалось, с трудом могли дождаться, когда их наконец коснется моя рука. Сама собой в рисунках все отчетливее проявлялась внутренняя гармония. Доходило до того, что несколько раз мне казалось, что пока я спал, они потихоньку создавались сами. И так продолжалось целыми днями. Оба моих помощника не могли скрыть своего восхищения. Фразу «это просто шедевр!» они повторяли шепотом теперь уже без прежнего опасения, что я могу счесть это грубой лестью. Вечерами, когда мы вместе с ними пили кофе, бывало так, что мы просто молчали, но само собой понятно было, что думали мы об одном и том же.

Был как раз такой вечер, когда посреди сочувственного молчания я чуть не завопил «идиот!». По тому, как они на меня посмотрели, я понял, что на лице у меня появилась та самая дурацкая улыбка, которая так раздражала мою жену, поскольку она прекрасно знала, что таким образом я пытаюсь обвести ее вокруг пальца и что-то от нее скрыть. При воспоминании о

том глупом припадке гнева, когда мне пришла в голову идея изуродовать проект, мне хотелось рассмеяться. Может быть, я и рассмеялся бы, естественно, не объясняя причину моего смеха, но вдруг что-то внезапно изменилось, словно во время затмения. Застыв от холода, обдавшего меня из вышины, я вспомнил вдруг услышанную когда-то мысль: не уродство, а его противоположность, красота, вот что в архитектуре, как и везде, может убить.

Шестерка королевских коней...

Голос моего венгерского преподавателя, рассказывающего нам одну средневековую историю о зависти, историю, случившуюся с королем Франции и его подданным, где речь шла о здании, вспомнился мне вдруг с необычайной четкостью. Шесть королевских коней неистово мчались сквозь ночной мрак... Слова, произнесенные двадцать пять лет назад, звучали у меня в ушах, словно только вчера сказанные. И вместе с ними, я вдруг ощутил дремоту, охватывавшую меня в чрезмерно натопленном лекционном зале Архитектурной Академии Будапешта. Вассал не только осмелился воздвигнуть себе замок прекраснее, чем у самого короля, но и пригласил своего сюзерена на торжественный ужин по поводу окончания строительства.

Kiralyi hatos fogat, неистово мчались...

Я попытался переключить свои мысли на что-нибудь другое, но не смог.

В три часа ночи, с лицом, искаженным от гнева, король вместе со своей свитой помчался как сумасшедший в сторону Парижа.

Мастер, тебе плохо? озабоченно спросил один из моих помощников.

Даже и не знаю, как именно я кивнул ему в ответ. Мысль о том, что осужден впоследствии был не архитектор, а сам заносчивый вассал, в какой-то мере меня успокаивала. То есть имен-

но вассал, своего рода преемник, был осужден за то, что осмелелся состязаться с самим королем...

Потягивая вторую чашечку кофе, я подумал о том, что неспроста пришло это воспоминание. словно клубы пыли, внезапно освещенные солнечными лучами, с обрывками недоговоренных фраз, косыми взглядами, раздражающим молчанием, крутились в моей голове. Очень красивая получается вилла... Чрезвычайно красивая... Даже более красивая, чем у... чем... у...

Неистово, отбрасывая на темные деревья отблески фонарей, королевские кони приближались к Парижу. В карете сидел король, темнее ночи, и обдумывал планы мести своему вассалу.

Хааны морь зургаан, повторял я про себя, словно во сне, произнесенную профессором фразу, но не по-венгерски, а по-монгольски. Это был один из тех приколов, внезапно разлетавшихся среди студентов, в которых чем меньше было какой-то логики, тем более прилипчивыми они были и распространялись как эпидемия. Началось это сразу после лекции, когда мы входили в столовую обедать, и студент-словак, Ян, пародируя голос профессора, закричал еще издали буфетчице: «Шесть королевских коней с картофельным пюре!» Все грохнуло, но смех превратился в ураган, когда монгол Чонг, обычно довольно робкий, тоже крикнул: «И мне тоже шесть королевских коней!». Посреди всеобщего веселья, произошло вполне ожидаемое: мы потребовали, чтобы он произнес эту фразу на своем языке, и, как ни странно, именно на монгольском языке эта фраза и разлетелась по факультету: “ Хааны морь зургаан!”.

Мастер, может, нам выйти немного подышать, робко спросили меня помощники.

На улице я почувствовал себя еще хуже. Мне не терпелось вернуться обратно, чтобы опять приняться за эскизы.

Отныне и навсегда были они освещены нехорошим светом.

Я пытался успокоить себя: то были другие времена, мрачное средневековье, причуды королей, глупость вассалов. Но какой-то внутренний голос мне возражал: менялись режимы, обычаи, соборы, но преступления всегда были одни и те же. И зависть, их краеугольный камень, о которой часто забывали, вместо того, чтобы смягчаться, чем дальше, тем чернее становилась.

Застывшим взглядом я уставился в эскизы. Никогда раньше мне не приходило в голову, что убийство можно осуществить таким образом. Когда я брал карандаши и линейки, мне казалось, что у меня в руках кинжалы. Время от времени я повторял про себя: все в твоих руках, ты можешь легко сделать так, чтобы избежать беды. Достаточно только превратить эти кинжалы в инструменты спасения, вроде скальпеля хирурга.

Так я думал... Достаточно было просто немного изменить проект. Исказить пропорции, нарушить внутреннюю гармонию, короче, изуродовать.

Подобные мысли особенно часто приходили ко мне по ночам. В час милосердия, так я уговаривал себя, не сомневайся, спаси человека, целую семью, а возможно, и сотни других.

Мне казалось, что я принял решение. Но утром другая часть меня, грешная, оказывалась сильнее и толкала меня в противоположном направлении. Похоже, красоте в искусстве неведома была пощада. Кроме того, ей легче было найти общий язык со смертью, чем с ее противоположностью.

Я вновь и вновь пытался успокаивать себя. Эта история произошла триста с лишним лет назад. Это было другое время, частная собственность, другие законы. И все же это не могло избавить меня от видения: взбешенный король Франции рано утром, еще до рассвета, не успев отряхнуть с платья дорожную пыль, подписывает указ – приговор своему вассалу. И сразу после этого я невольно думал о черной злобе Вождя к Преемнику. Он ведь еще жив, а тот, в двух шагах от него, осмеливается

строить дом красивее, чем у него. Можно себе представить, какую же после его смерти он воздвигнет себе статую.

С туманной головой, едва придя в мастерскую, склонился я над эскизами, чтобы сделать, наконец, хоть что-то. Убрал веранду, укоротил две колонны, но от всего этого проект, вместо того, чтобы стать уродливее, стал еще более совершенным.

Если бы только кто-то знал о моей внутренней борьбе, он наверняка назвал бы меня мелочным человеком, который исподтишка мстит за то оскорбление во время давнего обеда в доме Преемника.

Душа моя будет свидетелем: то давнее оскорбление давно уже совершенно изгладилось из моей памяти. А происходившее было связано с чем угодно, но только не с ним.

Связано это было совершенно с другим. И было это в тысячу раз более мучительным и столь же сокровенным. Это был мой личный ад, о котором я поклялся не говорить никому, даже при последнем издыхании на смертном одре. Мучения эти были связаны с искусством. Я его предал. Своими собственными руками я зарыл свой талант. Мы все делали одно и то же, и почти все нашли схожее оправдание своей измене: эпоху, в которой мы жили.

Это было наше общее алиби, морок, заклятие. Конечно, был социалистический реализм, были какие-то установленные правила, да даже и правилами это не назовешь, просто чистый кошмар, и тем не менее, какие-то гармоничные линии мы могли бы изобразить, пусть даже и случайно, словно во сне. Но руки наши были связаны, потому что в оковах были наши души.

Я был, наверняка, одним из тех немногих, кто осмеливался задавать себе роковой вопрос: был у меня талант или нет? Эпоха ли виновата в том, что рука моя окаменела, или такой же каменной была бы она и во все другие времена, при капитализме, феодализме, закате язычества, в пещерную эру, в эпоху ин-

квизиции или постимпрессионизма! И в любую из этих эпох я плакал бы и восклицал: я великий художник, но мне мешает фараон Тутмос, или Калигула, сенатор Маккарти, Жданов.

Когда однажды вечером, весь на нервах, я сказал об этом своей жене, она, со слезами на глазах, ответила: и надо же, чтобы по этому поводу страдал ты, именно ты, так отличающийся от других.

Возможно... В той пустыне, казавшейся мне бескрайней, именно она посадила первое дерево надежды. А во время обеда у Преемника, вместе с оскорблением, я почувствовал впервые, - еще смутно, странно, извращенно, - вкус славы. Меня оскорбили... за столом правителя. Как и моих великих коллег когда-то. За столом у Нерона, китайского императора, Сталина, Кублай-хана. Мне угрожали изгнанием, как и им.

Позже, когда страх изгнания миновал, и я вновь вернулся в мастерскую, мои руки, прежде связанные моим же собственным сознанием, вдруг оказались свободными. Что-то, случившееся в моем мозгу, похоже, развязало их. Это было внезапное освобождение, похожее на то, как если бы я перепрыгнул радугу, ведь в детстве мы верили, что после такого прыжка мальчики превратятся в девочек, а девочки в мальчиков.

Я чувствовал, что совершил гораздо более значительный прыжок: мне удалось вырваться из пустыни посредственности. Это был мой единственный шанс.

Очарованный красотой проекта, я позабыл обо всем. Иногда, разглядывая эскизы, я говорил себе: это дом коммунистического правителя. Частный дом в стране, где господствует общественная собственность. Дом-гермафродит, с одной половиной, воздвигнутой еще при короле, и второй половиной – уже сейчас. Поэтому он казался здесь чужим, занесенным откуда-то издалека, со своей неземной, словно приснившейся красотой.

Тем временем шесть королевских коней вновь и вновь врывались в мои мысли своей неистовой скачкой. Я старался забыть о них. Я должен был заниматься своим искусством. Все остальное меня не касалось.

Я понимал, что все поставил на кон в дьявольской игре.

Я был убежден, что строю замок, венчать который будет траурная корона. Создаю красоту, которая, как сказано, убивает.

Если ты спасешь хозяина виллы, вместе с его родней, возвращайся туда, где и был, становись снова посредственностью, говорил мне внутренний голос. А другой голос настаивал: тебе нет до них дела, ты человек искусства, ты должен подчиняться только его законам. И если твое искусство убьет, ты в этом не виноват. Искусство не бывает без страданий. Более того, именно на них зиждется его траурное величие.

Примерно в это время до меня дошли первые слухи о подземном переходе. Сначала я почувствовал облегчение. План убийства носился в воздухе, совершенно независимо от меня и моего проекта. Кто-то помимо меня уже позаботился об убийцах, которым нужен был тайный проход, чтобы незаметно проникнуть в дом. То есть, это был не я, а кто-то другой.

Но это чувство облегчения оказалось недолгим. Очень скоро я понял, что слух этот дошел до меня через сына Преемника. Это было, похоже, порождением его фантазии, следствием его размышлений о странных связях между членами руководства. Он путано рассуждал об этом, сравнивал их с кровными связями, и однажды сравнил подземный ход с пуповиной.

Но даже если это и было порождением его воспаленного воображения, все эти туманные фантазии сами по себе были тесно связаны с моими эскизами. Совершенно не случайно они родились одновременно с ними. Как бы я ни старался отмежеваться от них, сама идея подземного хода была частью моего проекта. Все было завязано на нем. Именно по моему приказу,

а не по чьему-то, убийцы должны были пройти по нему. А parancsomra ok gyilkolhatnak... По моему приказу они должны были совершить убийство.

Дни напролет терзали меня эти мысли. В них было что-то навязчиво-повторяющееся, вызывающее скуку. В моих руках была судьба целого клана. Достаточно было изуродовать виллу, и убийцы на долгие века остались бы сидеть замурованными в этом переходе, в засаде... А если нет, то...

Дни летели быстро. Строительство подходило к концу. Вилла еще скрывалась под деревянными лесами. У меня сложилось впечатление, что все вокруг с нетерпением ожидали, когда же упадут доски, и она откроется глазу. Начинался сентябрь, бесшумно падали листья.

Леса сняли ночью, за несколько дней до церемонии обручения. Вокруг царило гробовое молчание. Когда вечером в воскресенье, в день церемонии, я перешагнул порог дома, все приглашенные уже собрались. В атмосфере было разлито легкое опьянение, никогда ранее не виданная мной раскрепощенность, пронизанная лучами света. Сузана, в светлом платье, очень гармонично вписывалась в пропорции здания.

Со всех сторон доносились поздравления, пожелания счастья, восхищение невестой, виллой. А кто архитектор, ах, это вы архитектор, поздравляю, это просто чудо!

После второго бокала шампанского мне захотелось кричать: говорите о чем угодно, но не о вилле, даже не упоминайте ее, закройте глаза, будьте милосердны!

Но было уже поздно. Убийцы уже были под ней, под фундаментом, во мраке. А parancsot nem lehetett megtagadni... Приказ уже нельзя отменить.

Искра последней надежды вспыхнула в моей душе, когда я заметил мутные глаза Вождя. Как бы он ни пытался это скрыть, заметно было, что у него наступает слепота. Он плохо видит, подумал я, он не в состоянии ничего разглядеть. Я невольно

представил, как он обходит вокруг виллы неверными шагами, трогая руками стены, как делают слепые, чтобы получить представление о людях и вещах. Совершенно невысказанно посредством таких прикосновений получить представление о красоте или уродстве чего бы то ни было. И едва я это подумал, как надежда моя тут же испарилась бесследно, стоило мне заметить взгляд его жены, шедшей рядом с ним. Внимательные, цепкие, слегка насмешливые, ее глаза дотошно осматривали все вокруг. И я сказал себе: уж лучше бы видел он, а она была слепой.

Я уже никогда не узнал, что произошло сразу после церемонии, когда Вождь со своей женой ушли.

Khaany mori zurgaap... Не нужны были ни кони, ни машины. Между двумя домами, домом Вождя и другим, домом Преемника, была очень короткая дорога. И все же ее было достаточно для всего.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРЕЕМНИК

Вы там все медиумы, мастера, постигшие тайны и все ведущие к ним тропинки. И все же, в тысячный раз я говорю вам: оставьте меня в покое! Если бы я и захотел, то не смог бы дать вам то, что вам нужно. Это вообще нельзя передать, не потому что я пытаюсь вас как-то провести, или вы к этому неспособны, а потому что такова уж у него форма существования.

Я другой. И, словно этого мало, я еще и не весь. Могилы у меня нет. Половины головы у меня нет. После эксгумаций, после того, как меня таскали туда-сюда, сваливая как попало в мешки и пластиковые пакеты, вперемешку с камнями и грязью, какая-то часть меня была утеряна. Но это как раз не самая большая проблема. Даже если бы я был в целости и сохранности, даже забальзамированный, высеченный в мраморе, от меня вы не добились бы ничего, кроме тумана и хаоса.

Я другой, в другом смысле. Это бесконечная инакость, отличность, каждое отдельное звено которого порождает новое

отличие, которое, в свою очередь, порождает другое, и так далее, и чем дальше, тем больше, и все это приводит к тому, что понимание между нами становится невозможным.

Я был преемником. Я был тем, кто идет позади. Но это не было вопросом пространства, связанным с теми двумя шагами, на расстоянии которых я должен был держаться позади Вождя, во время выхода к праздничной трибуне, или к траурной трибуне. Не было это и вопросом календарным, имевшим отношение к количеству лет, которые я должен был править после него. Это все было гораздо сложнее.

Мы – особая порода людей, никто не может нас понять, кроме своих. Но нас так мало, что в черной пропасти мироздания, в которой бродят человеческие души, редко, очень редко, один раз, может быть, в тысячу или даже в десять тысяч лет, нам и доведется встретить кого-то своей породы.

Вот так одной осенней ночью, в бредущем в одиночестве силуэте из пепла я разглядел, как мне показалось, черты моего товарища по несчастью, Линь Бяо, преемника Мао. Но похоже, это все-таки был не он, поскольку он никак не дал понять, что узнает меня. А может быть, он меня и в самом деле не узнал, потому что вряд ли можно считать человека с половиной головы, как в моем случае, намного более узнаваемым, чем превратившегося в пепел.

Я почувствовал искреннее сожаление, что упустил случай перекинуться, наконец, хоть парой слов с кем-то близким. Поделились бы друг с другом своими тайнами или, хотя бы посетовали: что же это они с тобой сделали! И настолько сильным было это желание, что я обернулся, но к тому времени его нельзя было различить в этом бескрайнем небесном просторе. Мне ничего не оставалось, как только утешать себя тем, что случай вновь сведет нас вместе через пару тысяч или через дюжину тысяч лет.

Ему, человеку нашей породы, я мог бы поведать начистоту, что со мной произошло, а вот вам – никогда. Потому что, в отличие от того, что происходит между нами, такого языка, который позволил бы передачу мыслей от нашей расы вам, еще не придумали и никогда не придумают в этом мире.

Поэтому мы никогда не сможем понять друг друга. Поэтому все те подозрения, что родились ночью 13 декабря, никуда не делись и сегодня, несмотря на то, что теперь в Албании изменился строй. Легче было представить, что небо обрушится на землю, чем то, что Албания так изменится. И тем не менее, это произошло. И тем не менее, даже после этой глобальной катастрофы моя тайна, или, если точнее, наша общая тайна, моя и Вождя, так и осталась покрытой мраком. Ни открытие архивов, ни запоздалые аутопсии, ни обнаружение моих останков, ни медиумы Кремля, Проклятых Пастбищ, Исландии или секретной израильской службы, не смогли проникнуть под панцирь, оберегающий нашу тайну.

И эти вопросы будут задаваться еще долгие годы: что произошло ночью 13 декабря? В чем была причина падения Преемника? Кто стрелял?

Ох уж эта ночь... И как о ней рассказать... И как же невозможно все объяснить. Да вот если даже начать с самой ночи. А была ли она, ночь 13 декабря? Трудно сказать. Лежа в постели, я ждал наступления сна, а моя жена принесла мне еще один стакан с чаем из ромашки. Время от времени она подходила к окну, словно пытаюсь разглядеть что-то во мраке. Я же, наполовину уже заснув, был мысленно в зале, во время заседания, завтрашним утром, отвечая все на те же вопросы. Там, где я и в самом деле оказался через несколько часов, только уже не телом, а душой. Там говорили обо мне так, словно я был еще жив, и даже Вождь едва скрывал слезу в голосе, произнося: а теперь, дорогой наш товарищ, после всех этих потрясений вер-

нующийся в наши ряды, постарайся принести еще больше пользы партии!

Хотя я в это время находился в морге, они вели себя так, словно ничего и не произошло, и ночи 13 декабря не было вовсе, но вместо нее был какой-то другой отрезок времени, какое-то раздвоение, словно ночь странным образом склеилась с завтрашним днем, а между ними время стояло на месте. Или текло вспять.

Кому-нибудь могло бы показаться странным это течение времени вспять. А мне – ничуть. Это было частью моего существования, в самой его сути и внешних проявлениях.

Моя жизнь вовсе не была человеческой жизнью. В таких случаях говорят «собачья жизнь». Но на самом деле еще хуже. Это была жизнь преемника. Я был тем, кто шел сзади. Тем, кто назначен занять место Вождя. Тем, кто напоминал всем, и в первую очередь ему самому, что однажды его больше не будет, а я продолжу существовать.

Бывали дни, когда я приходил в ужас от этих мыслей. Я удивлялся, как он может это выносить. Как он мог терпеть меня, терпеть других, принявших этот договор. Почему он не восставал, не кричал: да где это видано, чтобы такие вещи так жестко определялись заранее? В порядке установленной очереди, с отмеренным расстоянием до могилы? А что, мало, что ли, людей умирают в этом мире вне очереди? Почему же в его случае, то есть в случае с нами обоими, нужно было непременно соблюдать очередность?

Когда тревога отпускала меня, я искренне ему сочувствовал. У меня просто дух захватывало от восхищения величиим его души. Я готов был упасть на колени и попросить его: мой Вождь, если у тебя есть хоть малейшие сомнения, сними с меня, отбери этот титул. Иногда я заходил еще дальше и говорил про себя: требуй у меня чего хочешь, мы все говорим, что готовы жизнь отдать за тебя. Дай нам возможность доказать,

что это не пустые слова. Дай мне такую возможность, мне первому. Позволь мне в страшный миг, когда тебе грозит смертельная опасность, преодолеть эти два роковых шага, уничтожить эту очередь и, вместе с ней, и самого себя, выйдя вперед и отдав свою жизнь вместо твоей.

Я знал, что это было совершенно искренне. И возможно, я даже перебарщивал с этим, как тем апрельским вечером, когда мы оба сидели после ужина на веранде его дома. Вспоминали былое, в основном разрыв отношений с бывшими союзниками. Мы как раз обсуждали ссору с китайцами, когда он, глубоко вздохнув, сказал, что ходят слухи о том, что Линь Бяо, преемник Мао, не был предателем и не сгорел в самолете во время побега, но был приглашен на ужин в дом Мао, и сразу после ужина тот с ним и расправился.

Не знаю, как долго продолжалось мое замешательство. Знаю только, что в тот момент я почувствовал, что каждое протекающее мгновение было нестерпимым, поскольку из всех опасных бесед, которые мы могли с ним вести, это была самая скверная. Но, больше не раздумывая, я сказал: кто знает. И, словно этого было мало, сразу добавил, что я скорее поверю в его предательство, чем в невиновность.

Он долго и печально смотрел на меня. Затем встал из шезлонга, чтобы меня обнять. От волнения грудь его вздымалась, и он растроганно бормотал: ты мой самый искренний, самый преданный из моих преданных соратников. На щеках я почувствовал его слезы, и в сердце внезапно что-то екнуло. Что означает эта печаль, что означают эти слезы? Не совершил ли я ошибку? Не подписал ли я собственноручно себе приговор, и не оплакивал ли он меня, как говорится, заживо?

Всю ночь потом у меня сна не было ни в одном глазу. Я вновь и вновь возвращался мысленно к этой его печали и к слезам, и только одно объяснение мог этому дать: его тронула моя искренность. Я сказал что думал, даже не помышляя о том,

что подозревая китайского преемника в предательстве, я мог дать повод считать это невольным разоблачением темных тайн, скрывавшихся глубоко в моем подсознании. Я успокаивал так себя, но невольно возвращался мысленно к одному и тому же: не слишком ли далеко зашел я с этой своей искренностью? Не нанес ли я себе удар своей собственной рукой? Дни напролет после этого я следил за его поведением по отношению ко мне, и не находил никаких следов того вечернего разговора. Он забыл, подумал я. Его мозг, так же, как и у любого другого, нуждался в забвении. Слишком поздно я понял, что ошибался. Он ничего не забывал.

Когда пробил мой час, когда спустилась ночь 13 декабря, и после нее день 14-го, и он остановил время, я мгновенно понял, что повернув время в обратную сторону, он всего лишь исправил порядок вещей. Тот самый порядок, который, как решил его мозг, был нарушен, как в древних сказаниях, когда отец и сын меняются местами.

Когда он произносил свою речь, которую я уже больше не слышал, речь его прерывалась от волнения, как и тогда, тем апрельским вечером, когда, вероятно, он впервые подумал, что я, своей собственной рукой, действительно нанес самому себе удар.

Многим это волнение могло показаться впоследствии лицемерным, но я точнее чем кто бы то ни было знал правду. Когда у него от волнения перехватывало дыхание, это было совершенно искренним. Как и многое другое, - но вам не дано понять даже этого. Потому что нелегко вам понять, что мы из такого мира, что даже когда ненавидим друг друга, все равно любим, и наоборот, любим, ненавидя. И особенно в такие дни, как день 14 декабря. Или в такие ночи, как ночь 13-го.

Ох уж эта ночь...

Даже если бы вы и не спрашивали меня о ней, она продолжает занимать половину моего небытия. За окном сверкали

молнии. Моя жена подошла к окну, и я хотел спросить ее: что ты там высматриваешь? Снаружи был сплошной мрак и ни искорки надежды нигде. Я не смог ничего сказать, потому что меня в это время сморил сон. Какое-то скверное сновидение, что-то вроде хлопьев снега, среди которых я с трудом мог различить мою первую невесту, ту, еще в партизанах, а рядом с ней моего охранника, как и сорок лет назад, в горах, когда, истаявший от лихорадки и окруженный националистами из «Баллы Комбэтар», я просил их обоих, ее и охранника, меня убить. Убейте меня, просил их я, не дайте мне попасть к ним в руки... Они молча смотрели на меня. От жара они казались мне теньями, то их становилось трое, то напротив, они сливались в одно целое, и превращались в кошмарное существо, полумужчину, полуженщину.

Когда моя жена, оторвавшись наконец от окна, приближалась ко мне, она показалась мне моей первой невестой, на которой я так и не женился. И рядом с ней, как и сорок лет назад, был тот мой партизанский телохранитель... Она оба молча приближались ко мне, затем телохранитель остался позади, и только она, совершенно туманная, но снова раздвоившаяся, одновременно невеста и жена, нечто вроде, если можно так выразиться, двоеженщины, которая, вместо стакана с чаем из ромашки, направляла в мою сторону черный ствол револьвера. Все это не вызывало у меня никакого ужаса, более того, я воскликнул про себя: ну что же вы тянули сорок лет, чтобы выполнить наконец мою просьбу. Убей меня, подумал я снова, как тогда, не дай мне попасть в их руки. И неожиданно все растворилось в пустоте.

И вот по этой пустоте меня уже долгие годы носит ветром, у которого нет какого-то определенного направления. Мне кажется, что я иду, а я все там же, а когда я думаю, что остаюсь на месте, на самом деле несусь неизвестно куда. И как будто мало того, что простирается она в бесконечность и нет у нее ни

конца ни края, в унылую бесконечность, где душа редко может встретить другую душу, так в этой пустоте, да я уже тысячу раз вам повторял, все мы, и преемники и Вожди, вместе со своими свитами, всего лишь горстка жалких созданий.

Напрасно пытаетесь вы разгадать наши знаки. Понять, у кого были причины, а у кого нет. Мы, Вожди и преемники, мы вместе, превратившись в одно целое, целуемся и вцепляемся друг другу в глотки, пытаюсь убить друг друга с тем же неугасимым пылом. Если бы я был Вождем, я поступил бы с ним точно так же, и так далее, снова и снова, он и я, я и он, и если бы десятки раз мы менялись местами, то десятки раз повторяли бы одно и то же. Поэтому, когда я увидел, как толпа скинула его статую, когда ему разбивали бронзовую голову, точно так же, как он разбил мою, я не почувствовал ни успокоения, ни сожаления. Была только тоска, бесплодная, как и все остальное в этих смертных весах, где я обречен бродить вечно.

Вот такие уж мы.

Поэтому вам незачем нас оплакивать или заступаться за нас. И совсем уж не стоит ждать, что мы появимся наподобие средневековых призраков, где-нибудь среди башен или в музеях, чтобы потребовать у сыновей выполнить их священный долг кровной мести. Мы были невозможными отцами, и потому у нас могли быть только невозможные жены, сыновья и дочери.

Не ломайте себе головы, пытаюсь понять, в чем мы ошиблись. Мы сами результат какой-то ошибки мироздания. И вот, родившись по ошибке и встав в эту проклятую колонну, один за другим, кто-то на шаг впереди, кто-то позади, кто-то Вождь, а кто-то преемник, мы выстроились по порядку, посреди пепла и крови, чтобы придти к вам.

Мы не признаем ни молитвы, ни прощения, поэтому пусть вам даже никогда не приходит в голову ставить свечи за упокой наших душ. Молитесь лучше о чем-нибудь другом. Моли-

тось, чтобы никогда не случилось такого, что, блуждая потерянно по черным безднам вселенной, мы разглядели бы как-то ночью вдали огоньки земного шара и, как убийцы, которых занесло случайно к деревеньке, где они родились, мы сказали бы: а, да это же Земля! И чтобы мы, как убийцы возле спящей деревеньки, не изменили бы свой маршрут и, на вашей горе, не вернулись бы снова, с масками на лицах, с окровавленными руками, без жалости, без покаяния и без аллилуйи.

Тирана-Париж,
Октябрь 2002 – март 2003